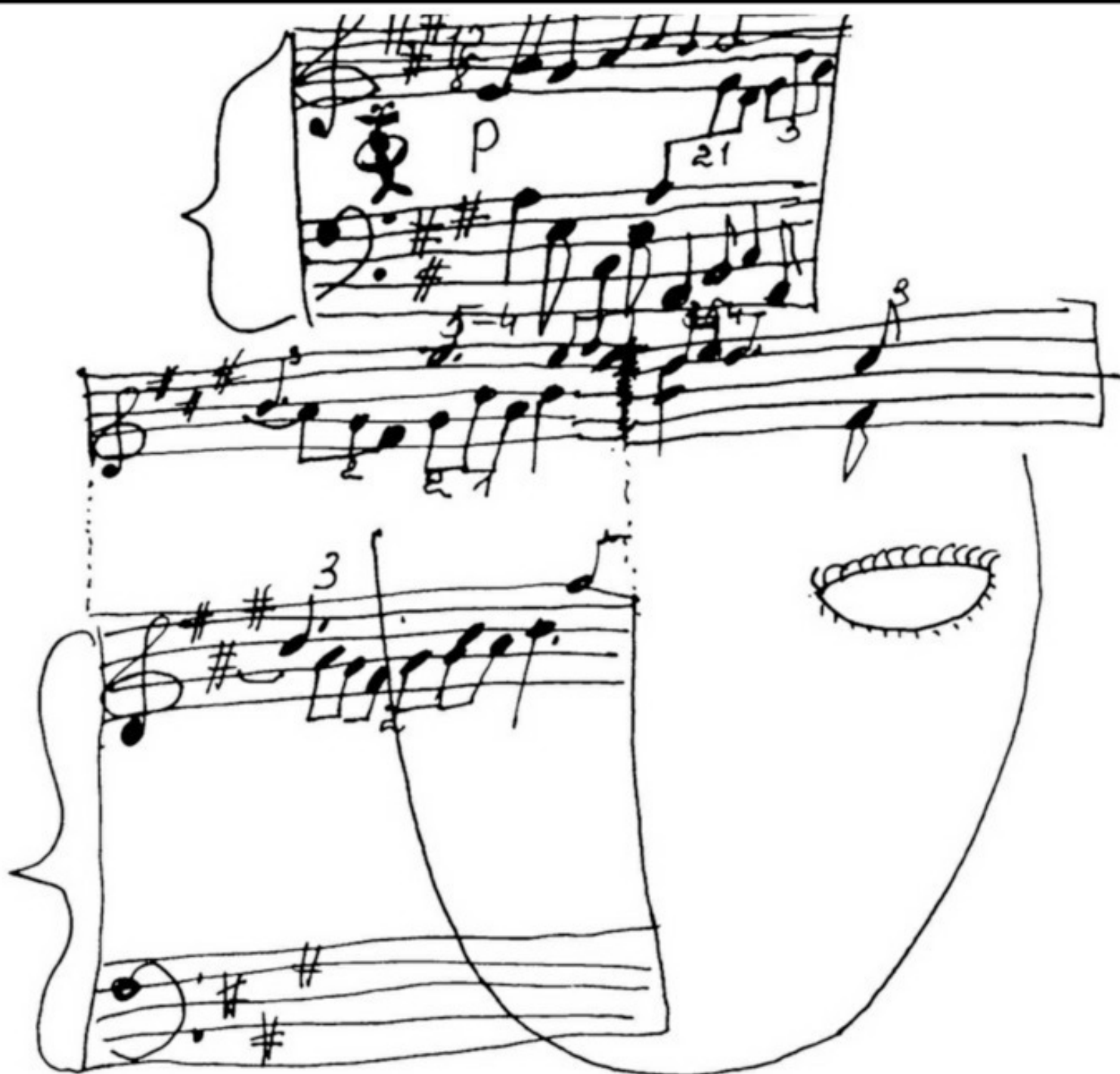


АЛЕКСАНДР СТРОГАНОВ

Сочинения. Том 10



Александр Строганов
Сочинения. Том 10

«Издательские решения»

Строганов А.

Сочинения. Том 10 / А. Строганов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-833693-5

«Писатель Строганов проник в „тонкие миры“. Где он там бродит, я не знаю. Но сюда к нам он выносит небывалые сумеречные цветы, на которые можно глядеть и глядеть, не отрываясь. Этот писатель навсегда в русской литературе». Нина Садур.

ISBN 978-5-44-833693-5

© Строганов А.
© Издательские решения

Содержание

Каденции	6
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Сочинения. Том 10

Александр Строганов

© Александр Строганов, 2016

© Наталья Александровна Строганова, иллюстрации, 2016

ISBN 978-5-4483-3693-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Каденции Поэма

*Когда все тайное станет явным — понимаете? — все! — то-то мы
сядем в калошу*

А. Д. Синявский

Моим пациентам посвящаю

Вступление

Вот я разложу перед вами ряд писем, в той именно последовательности...

Вероятнее всего, именно так и следовало бы начать. А следом, сразу же, безо всяких предысторий, открыть вам письма, тем самым, предоставив полную свободу мысли. Вероятнее всего, так было бы лучше, ибо в этих-то письмах и содержится главное. В письмах, а вовсе не в сюжете, то и дело назойливо проглядывающем, как будто грунтованная холстина сквозь осыпающиеся от времени краски на живописном полотне. Точно не будь этой вот мертвенного тона тряпки, не было бы и самого юноши, и озера за окном, и облетевших листьев на его поверхности.

Чушь, конечно. Между тем, чушь назойливая и для многих весьма привлекательная. Убежден, что те многие уверенно поставили бы свою подпись под таким избитым умозаключением.

Да, не стоило бы идти у любителей анекдота на поводу. Но, в таком случае, я был бы не совсем честен, потому что самому-то мне они достались в комплекте с весьма игривой загадкой, вполне в духе тяготеющего к чудесам и чудачествам времени, однако, по причине моей лени или развитого чувства опасности, так и не получившей разрешения. Непродолжительное время я забавлял ею друзей, интересующихся любопытными психиатрическими побасенками, но довольно скоро, как, думается, поступает большинство литераторов с проживающими в них химерами, трансформировал ее в одноактную пьесочку для чтения, больше напоминающую этюд, под названием «Память осторожного человека» и таким образом перестал держать в голове за ненадобностью. Позже эта тема прозвучала еще раз, в «Сумерках почтальона», но уже совсем намеком, дальними отголосками темы.

Письма же продолжали жить своей жизнью. Бормотали по ночам, ловили взгляд, одним словом, всячески требовали к себе внимания, а, получив его, рассчитывались с новым хозяином тем, что каким то неведомым способом, точно ключиком, заводили в нем механизмы раздумий и мечты из области подзабытых пространств и реальностей, возвращая в пору всеядной и удивленной юности, что, согласитесь, есть путешествие волнующее и приятное. Эти-то путешествия, по причине моей непреходящей любви к музыке, ассоциировавшиеся с каденциями и привели к тому, что в один прекрасный момент мне непременно захотелось обнаружить послания, а заодно проверить, только ли со мной, большую часть жизни проработавшим в психиатрической больнице, а вы наверняка знакомы с расхожими суждениями на этот счет... только ли со мной происходят такие вот чудеса, или же это данность, существующая вне моего сознания?

Письма представляют с собой пожелтевшие листы каких-то канцелярских бланков, с чистой прежде стороны исписанные шариковой ручкой бисерным, без помарок, почерком. От них исходит запах травы или целого букета трав. Так или иначе, запах этот удивительно

стой. Письма хранятся у меня более десятка лет, пережили переезд и ремонт, но запах не только что не исчез, но сделался более насыщенным и терпким.

Теперь анекдот.

Письма эти мне передал некто Евгений Д., которого я видел один только раз в жизни, именно в тот день, когда он, собственно и перепоручил мне их. Евгений Д., представляющий собой в недавнем прошлом сахарно красивого, ныне вступающего в более мужественное пространство торжества времени, но элегантно одетого, очень близорукого, в очках с толстыми стеклами, худощавого, спившегося, о чем он незамедлительно поведал, в бордовых тонах человека. Некоторую часть своей жизни он, так же, как и я посвятил занятиям литературой. Некогда, так же, как и я, он обучался в медицинском институте, но оставил его, в виду обнаруженных им очевидных преимуществ алкоголизма.

Меня, кроме схожести рода занятий, в доверенные лица он выбрал еще и по той причине, что сочетания психиатр и драматург в одном лице он прежде не встречал, и это несколько встревожило его воображение, и показалось ему знаком того, что я, как раз, и есть тот самый, кому он может отдать письма своего исчезнувшего сумасшедшего брата, Виталия Д. Отдать, ибо письма эти тяготят его, побуждают к каждодневному пьянству, а требования весьма состоятельной дамы, у которой последние годы он живет на содержании, таковы, что Евгению Д., дабы не разрушить этот союз, надобно делать хотя бы небольшие, но перерывы.

Брата своего Евгений Д. не видел много лет и не особенно стремился к такому свиданию. Виталий Д., страдающий душевным заболеванием, жил в другом городе и вполне обходился без родных. Единственной ниточкой, которая связывала его с ними, а точнее с ним, Евгением Д., и были эти письма, на которые тот обыкновенно никогда не отвечал, да этого, как мне следовало в будущем понять из переписки, и не требовалось.

Такой порядок вещей существовал много лет, до тех пор, пока характер писем вдруг не изменился, и, пока, наконец, мой визитер не почувствовал «неладное». Пока не произошло нечто, неподдающееся объяснению. Пока не проступила та самая загадка, о которой речь и идет с самого начала моего повествования.

Однажды для Евгения Д. стало очевидным то, что брат его умер, но при этом, каким-то невообразимым способом, еще некоторое время продолжал отправлять ему письма. До тех пор, пока не наступила окончательная тишина.

Озадаченный Евгений Д. решился поехать к брату. С тем, чтобы совершить вояж, он несколько дней не притрагивался к водке. По прибытии в тот самый городок, Евгений Д. выяснил, что Виталия Д. никто не знает, и не знал никогда, и что адреса, указываемого в письмах не существует. Одна женщина, проживавшая на той же улице, что и невидимый брат, дословно, сказала, что «имеются в наличии» дом номер один и дом номер пять, а искомого дома номер три здесь никогда и не было. На этом расследование было завершено. Евгений Д. вернулся домой. И, через три недели с белой горячкой был госпитализирован в одно из наркологических отделений.

Вместе с письмами Евгений Д. предложил мне адрес брата, на случай, если мне захочется раскрыть эту тайну и три своих небольших новеллы, опубликованные в каком-то незначительном литературном журнале, который, в нарушение традиции молчания, он, о чем весьма сожалеет, отправил зачем-то Виталию Д. В связи с этим новеллы упоминаются в посланиях последнего.

В заключение Евгений Д. предложил мне сжечь письма, вместе с его рассказами, если они окажутся и мне в тягость, что, по его мнению, было бы самым логичным, но на что, в виду особенностей его «высокой болезни», у него уже не хватит духу. С тем он поспешил раскладываться, сославшись на скорый отъезд.

Вот и вся история.

Не скрою, первое время, после того, как я ознакомился с доставшимся мне наследием, меня, нет, нет, да и посещали мысли вновь встретиться с Евгением Д. или навестить городок Виталия Д., и попытаться отыскать автора писем или, хотя бы, дом номер три. Но, по причине лени ли, развитого чувства опасности ли... Одним словом, на том история моя обрывается.

Теперь я разложу перед вами ряд писем в той последовательности, как они предстали передо мной, для удобства перемежая, там, где это требуется, вышеупомянутыми новеллами. Как мне кажется, в этой последовательности, имеющей весьма условное отношение к хронологии, содержится значительно больший смысл, нежели в расследовании обстоятельств загадочного исчезновения, ибо в ней именно сокрыты те самые путешествия, суть – каденции.

А что из доступных нам высот превыше музыки?

Итак письма...

Письмо первое

Благородный Стилист!

Отчего люди смеются?

Если смех – это высшее судорожное проявление душевной безмятежности, не без изъ-яна ли человеческая душа, когда ее покой – страдания ближнего или же его странности?

Не случилось ли с Вами, чтобы смех разобрал Вас при виде горбатого или колченогого человека?

Не смеялись ли Вы над бедно одетым или просящим подаяния? Верно, что подобного не могло произойти с Вами, ибо светлым рассудком своим Вы превзошли многих своих современников.

Мне очень не повезло оттого, что живу я в самом смешливом районе города.

Нет, нет, это вовсе неплохо, когда люди смеются.

Я же, по-видимому, лишен этого дара, и, когда, что бывает крайне редко, так редко, что Вам и представить себе трудно, это все же случается со мною, я ловлю себя на мысли, что совершаю над собой усилие. Смеется мое лицо. Внутри же я остаюсь печальным. Я могу оценить шутку, удачный анекдот, но оценка эта ничем не отличается от той, что я даю красивой мелодии или же прекрасной женщине.

Итак, коль скоро я лишен способности смеяться – смеются надо мной. Смеются все или почти все, от мала до велика.

Как Вы полагаете, благородный Стилист, нет ли какой то эпидемии среди жителей нашего квартала?

Быть может это влияние радиации?

Мне кажется, что Вы, обладая особым аналитическим типом мышления, могли бы догадаться или же докопаться, умело используя факты, до причин этого явления.

С этой целью постараюсь дать Вам как можно более точное описание среды моего обитания.

Прежде всего, мой район отличается изобилием металлических конструкций. Они уже вросли в землю, из чего я делаю вывод, что находятся здесь очень давно. Нет возможности составить представление о подлинных их размерах. Думаю, что эти конструкции огромны. Мы же видим лишь незначительную их часть. Вероятно, грамотный инженер и смог бы, рассмотрев фрагменты на поверхности, определить первичное их предназначение.

Конструкции покрыты ржавчиной. Ржавеет и земля вокруг. Освещенный солнцем, весь район наш имеет ржавый оттенок.

Иногда кажется, что именно здесь находится родина осени.

Весьма любопытно наблюдать за конструкциями в сумерках. Они будто оживают. Они делаются торжественными и тревожат. Многие из них пропорциональны и даже изящны. Конечно, на первый взгляд они кажутся уродливыми, отталкивающими, но, как мать привыкает к своему некрасивому ребенку, привык к ним и я. Чаще всего они имеют рога, одну пару или несколько. В вечерние часы я допускаю, нет, я уверен, что они были здесь всегда.

Может статься, они передвигаются.

Очень медленно.

Так медленно, что не хватит и жизни человека, дабы проследить за их шагом, пусть на миллиметр.

Однако они движутся.

Интуиция подсказывает мне.

Интуиция для меня точнее любого знания, ибо все наши мысли предопределены и мертвы, а хаотическое, спонтанное предчувствие – живое начало наше.

Дома здесь ветхие, зачастую сколоченные из досок товарных составов. Их называют вагонными домиками.

Многоквартирных домов – четыре. Они – каменные, двухэтажные. Их построили военнопленные. Их называют коробочками.

Есть одна многоэтажная коробочка, но она, по ряду причин, вероятнее всего, засекречена.

В одной из двухэтажных коробочек, под номером три, живем мы с моими шумными соседями.

Коробочки веселее. Окна в них светятся ярче и дольше.

Вагонные домики же хмурые и в них проживают разнообразные болезни.

Обитателей вагонных домиков не спутаешь с жильцами коробочек. Они – бледные и согбенные, но, как ни странно, чаще смеются. Почему так? Ответа нет. Парадокс.

Их не любят животные. Собаки обходят вагонные домики за версту и при этом непременно поджимают хвосты.

Когда постояльцы вагонных домиков укладываются спать, из леса, что располагается неподалеку от нашего района, приходят олени и вылизывают стены коробочек. Дело в том, что на стенах наших домов выступает соль, а олени, как Вы знаете, Стилист, обожают соль.

Я всегда предчувствую появление оленей и готовлюсь к нему.

Я раздеваюсь донага и подхожу к окну. На встречу с дикими животными лучше всего выходить в первозданном виде. В таком случае они никогда не заподозрят наличие оружия или дурных мыслей и всегда будут улыбаться вам. Хотя частенько окно мое светится всю ночь напролет, олени не боятся бессонного человека. Их страх ютится подле вагонных домиков, где люди больны смехом и опасны.

Итак, если даже дикие животные воспринимают человека в естественном его виде, на людей зачастую это производит шокирующее впечатление.

Оттого так изысканы и нелепы бывают наряды светских жителей, за тысячелетия истории скрытности, а именно так в душе я называю историю человечества, разработанные моделиерами или же подобранные случайно.

Не было никогда, и нет ничего кричащего в костюме железнодорожника, подаренного мне на бедность великодушными людьми. Это весьма практичная, ноская и, на мой взгляд, красивая одежда.

Оттого, что это мой лучший костюм, надеваю я его крайне редко. По праздникам. И испытываю при этом истинное удовольствие.

Большинство жителей нашего района, я никогда не обманывал Вас, благородный Стилист, одеваются значительно хуже.

Однако именно этот мой костюм всегда вызывает шквал смеха.

Все началось с того первого, воистину праздничного дня, когда солнце ранней осени превратило в золото нашу ржавчину, и *мне было позволено выйти на улицу*, и я захотел посмотреть на людей и поздороваться с ними.

Тогда я надел свой костюм впервые.

Вы знаете, насколько тренирован мой слух. Мне не составило большого труда услышать шепот двух прохожих, явно относящийся ко мне.

– Капитан – заметил один из них, и дальше – улыбка.

Я умею слышать улыбки.

Тогда я неправильно истолковал эту фразу. Мне подумалось, что люди просто не знают различий между костюмом капитана и железнодорожника.

– Ну что же – подумалось мне – так много невежественных людей окружает нас. Это – беда, но им приятно видеть капитана на своей улице.

Быть может встретить настоящего капитана вот так, запросто, на улице мечтал кто-то из них еще в детстве, и, обратись я к ним в этот миг с попыткой исправить заблуждение, случилось бы еще одно разочарование, а сколько их выпадает на долю бедных людей?!

О, как я ошибался!

Вы не поверите, благородный Стилист, но это была насмешка.

И это была злая улыбка.

Насмешка сделалась кличкой, прочно приставшей ко мне, а злая та улыбка превратилась в кошунственный смех, столь громкий и долгий, что однажды я испугался своей неприязни к этим несчастным людям.

Я испугался, что на смену неприязни придет ненависть и тогда во мне умрет человек.

И еще одна ужасающая мысль пришла мне в голову.

Так могут смеяться надо всеми железнодорожниками!

А это трудная и опасная профессия.

Я чувствовал, надевая свой костюм, до прискорбного этого происшествия, как строгость и сосредоточенность наполняла меня. Я даже видел паровозную топку и слышал запах опаленных ресниц. А как же иначе? Ведь все мы равны перед Богом.

Но почему, если все мы равны перед Богом, я виновен перед людьми?

Лишь только задал себе я этот вопрос, как тотчас получил ответ.

Посудите сами.

Коль скоро я могу оказывать на людей влияние, воздействие, пусть это – смех, в особенности, когда это смех, оружие грозное, хоть и на секунды, парализующее смеющегося, зачем я провоцирую их на подобное проявление болезни?

Нет ли во мне желания возвыситься, когда одеваю я свой костюм и появляюсь на людях?

Нет ли во мне страсти быть особенным?

Я часто мучаю себя этим. К несчастью, подобные размышления приводят меня к печальным заключениям.

Вот – характерный пример.

Приготовление пищи.

У меня есть кое-какой скарб. Скарб, как и принято, находится на общей кухне, то есть он уже как бы не мой, а общий и принадлежит всем. Готовить я не мастер, в отличие от Вас, благородный Стилист, да и люблю пищу простую, без затей.

Обыкновенно соседи обращаются друг к другу за той или иной посудой. Берут во временное пользование. Я же – никогда. Даже если в тот час или несколько часов у меня возникает аппетит. Благо, случается это не часто.

Приготовлением пищи я занимаюсь только лишь, когда на кухне нет никого. Под тем или иным предлогом я прохожу мимо кухни и наблюдаю, нет ли там кого. И только в том случае, когда слышу тишину, позволяю себе взять что-нибудь из *как бы* своей утвари.

Сколько наблюдений ношу я в себе после топтания и вальсирования у комического храма, где в котелках и кастрюлях варится все зло человечества!

Где чеснок – загроудинная боль, а картофелины – неслучившиеся куклы, перец – вождение, а мука – удушье, где пальцы наивно полагают, что мнут тесто, а на деле производят страшное действие, приближающее немоту и смерть своего хозяина.

Здесь всегда ярмарка глупости. Оттого и ссорятся соседи чаще всего на кухне.

Все эти наблюдения нужны мне для моих трудов.

Вот как!

Стыдно, стыдно!

Я пытаюсь объяснить себе себя и не могу.

Что же говорить о близоруких моих фантазиях объяснить других?!

И поделом, что смешон, и щеки в сахарной пудре!

Прощайте. *Я приглашен.*

Если это никак не принижает Вашего достоинства, Ваш брат.

Papier Mache

Исповедь Виталия Фомича, изложенная им на обычных тетрадных листах, и для него самого явилась полной неожиданностью. В исповеди этой не было ровным счетом никакой нужды. Мало того, ей не было никакого применения. Будучи тихим одиноким человеком, Виталий Фомич избегал общества, пусть самого приличного, так как от всякого общества ему доставались бесконечные неприятности. Потому письмо это не могло быть отправлено. Потомков по себе он не оставил, и рукопись не могла стать кому-то духовным завещанием, или же поводом к размышлению. Словом, исповедь эта была обречена, и разумом Виталий Фомич понимал это, однако же, более глубокое, подсознательное в нем не желало мириться с такой обреченностью и требовало своего.

Невозможно подсчитать, как давно велась эта интимная война. Так или иначе, в тот вечер, когда соседи забылись, в комнате сделалось прохладнее и из буфета потянуло запахом давно не существующего вишневого варенья, Виталий Фомич отыскал в тетрадке с расчетом убытков чистые страницы и как-то сразу, бегло принялся писать. Кажется, случись землетрясение, и оно не смогло бы приостановить той порой нервный шаг химического карандаша Виталия Фомича. Вот вам эта исповедь.

«Единственное ли то, что мы не находим ничего общего между собой и бумагой, вселяет в нас уверенность в отсутствии ее тайной жизни? Подумайте, не складывалось ли у вас ощущения, что где-то внутри у каждого имеется подозрение в обратном? Но, из скрытого страха перед непознанным, мы гоним от себя эту мысль, а, точнее, просто не обращаем на нее внимания?

Речь идет не о рисунке, копирующем нашу внешность, а об обычном чистом или же покрытом письмом листе бумаги, о каком-нибудь бланке или справке без имени или Бог весть о каком еще документе.

Прodelайте простой опыт. Возьмите лист бумаги и скомкайте его, или же согните. Разве не различаете вы что-то или кого-то напоминающие формы? Разве не видите вы движения? Не кажется ли вам, что вы только что совершили насилие и испорченного листа жаль?

Когда эти или подобные ощущения не посетили вашего сердца, знайте, вы – бесчувственный человек, а печальнее того, ограниченный человек, ибо не дано вам постичь величия бумаги, на первый взгляд обычной бумаги, которая однако заполняет пустоты нашей жизни в значительно большей степени, нежели водка или влюбленность.

Я одинок. И рассудочно одинок. Нет на Божьем Свете безгрешных людей. Это – истина, и я первый скажу вам об этом в любое время дня или ночи. Под любой, даже самой невыносимой пыткой. Но, если существуют люди близкие к понятию безгрешности, безусловно, один из них, ваш покорный слуга. И это не праздное бахвальство, это – дар, уж не знаю за какие заслуги моих покойных пращуров или же по счастливой случайности обретенный мной, и теперь, когда я стар и болен, и жить мне осталось совсем недолго, я с уверенностью говорю об этом, и не стесняюсь, хотя, в деяниях своих, я, обыкновенно, человек робкий.

Отчего я рассудочно одинок? Или в пору юности я не заглядывался на хорошеньких женщин, будучи болезненным или незрелым? Нет же. Во мне течет кровь повесы отца, безумного красавца, прожигавшего жизнь себе в удовольствие. Или не хочется мне уюта? Нет. Мне часто приходят на ум запахи маменькиных щей или пирожков с печеню, и слюна заполняет мой рот, и желудок бывает встревожен в эти минуты. С великой радостью я бы лучше одевался, избегая тем самым презрительных взглядов и ухмылок жестокосердных соседей. Мой дядюшка был роскошным театральным портным. Он долго жил с нами и воспитал во мне вкус к одежде. Даже теперь, в дни великой смуты и неразберихи во всем, включая стиль, я смог бы сделать полезные замечания отдельным модницам. Так в чем же дело? Отчего я один, и не стремлюсь к иному положению?

Детство мое прошло в тихой и теплой обстановке. Не взирая на многодневные выкрутасы, отец мой был добрейшим человеком, ему прощалось все, и меня он любил без памяти. Он строго следил за тем, чтобы и другие любили меня. Я же отвечал на подобную заботу хорошим поведением и примерной учебой.

Игрушки, конфеты и прочие предметы восторгов моих сверстников мало забавляли меня. И теперь я не могу найти этому должного объяснения. Но так было. Лишь один подарок, во многом определивший мою дальнейшую судьбу, оказался мне по душе. Это тот самый дядюшка портной преподнес мне на именины набор рисовальной бумаги с вензелями и акварельные краски.

Я не расставался со своим приобретением. Я носил бумагу и краски в школу, клал их под подушку своей кровати, даже заработал замечание педагога, когда прослушал его урок, рассматривая чудесные эти вензеля.

Горе приходит всегда внезапно. Мы ждем его визита, но каждый раз оказываемся неготовыми. Однажды, вернувшись со школы, я с ужасом обнаружил, что краски мои распечатаны и на каждом листе бумаги изображены какие-то безобразные каракули. Целый год хранил я свой подарок как святыню, зная, что бесталанен в рисовании. Я жалел бумагу. Кто же оказался этим варваром? Это соседский ребенок был оставлен маменьке безответственными родителями, и уничтожил мое сокровище. До сих пор я содрогаюсь, вспоминая то несчастье.

Я не знал, что делать. Выбросить бумагу мне было больно, но того больнее было оставлять ее дома в таком плачевном состоянии. Меня тянуло бы к ней, и я не находил бы себе места, зная, что взглянуть на ее раны было бы для меня равносильным самоубийству. Я возненавидел того маленького варвара.

Однажды, набравшись мужества, я снес бумагу во двор и сжег ее. С тем, чтобы не умереть от разрыва сердца, я представлял себе, что это горит не моя искалеченная бумага, а тот самый злосчастный соседский мальчик. Заодно я сжег и краски.

Дальше стали происходить странные и необъяснимые вещи. Ровно неделю спустя мысленно сожженный мной ребенок умер от воспаления легких. Еще через месяц, я сверял числа, сел в тюрьму дядюшка. Позже я узнал, что он работал на одну из иностранных разведок. Вот откуда каракули на бумаге и прочие, на первый взгляд загадочные, события. Тогда же я и задумался над тем, что бумага не безлика, бумага не пустое, и я не случайно оказался в самом центре страшного круга наказаний. Это было испытание мне. И я выдержал его. И уже тогда многое понял.

Я учился упорно и прилежно. Нашей семье повезло в том, что дядюшка носил другую фамилию, и к моменту ареста уже давно не проживал с нами. Он сожительствовал с какой-то белошвейкой, вероятнее всего сообщницей, а у нас совсем не бывал. Это позволило мне получить хорошую работу по канцелярской линии в одном секретном учреждении.

Я благодарен судьбе за то, что проработал там более тридцати лет, и я занимался любимой работой. Славные спокойные люди окружали меня. В нашем отделе царил гармония и тишина. Я любил закрыть глаза и, откинувшись на стуле слушать шорохи, шелест. Звуки облизываемых языком губ, поправляемых очков, шепотную речь нерадивых. Какой-то слабый и очень приятный ток пробегал у меня по позвоночнику. Не могу сказать, что мы были дружны со своими сослуживцами. У нас никогда не бывало вечеринок. Мы старались не обидеть друг друга назойливостью, расспросами. Мы только знали друг друга в лицо и по имени-отчеству. Но мы любовались друг другом, наблюдая за тем, как наши руки холят дела, бланки, протоколы. Мы были единоверцами и понимали, а точнее чувствовали друг друга без слов.

Здесь начались мои прегрешения. Однако, прегрешения во благо. Я докладывал уже вам, что работал в секретном учреждении, и все документы, и даже сами бланки были секретными. Трудно представить даже, что могло бы случиться, попади они в чужие руки. Но я был одинок, в дом никого не приглашал. Я жил, впрочем, как и теперь, как бы в сейфе. Я заметил, что когда появляются новые образцы документов, старые подлежат уничтожению. Я старался мириться с этим, не пускать мысли в этом направлении. Но слаб человек. Так или иначе, я возвращался к этой теме.

Однажды я решился на преступление. Задержавшись на работе дольше обычного, я вынес с работы несколько спасенных мною устаревших образцов. Мучениям моим в то время трудно подобрать метафору. Однако дело вышло. Бланки были спасены, и страх сменило торжество. И я повадился. В моей кунсткамере стали появляться и новые бланки, их становилось все больше, и самое замечательное то, что они были совершенно чистыми, девственными, не испорченными неловкой рукой, или же пустым содержанием. У меня было такое ощущение, что я спасаю детей. Каждый месяц я менял замок в своем книжном шкафу. Каждый вечер я сортировал и раскладывал их по полкам. Знаю, какое наслаждение они получали от моих забот.

Тогда я встречался с одной женщиной. Не могу назвать это романом, но некоторое увлечение имело место быть. Да что там, я был влюблен. Теперь, по прошествии времени, я понимаю это с ясностью.

Женщины по природе своей эгоистичны и совершенно не выносят присутствия тайны. Как мог я объяснить частое свое молчание, отказ пригласить в дом? Я не скупился на подарки. Мы гуляли в парке. Она была говорлива, и вскоре, мне казалось, я знал о ней все. Мы даже были близки. В эти минуты я испытывал нечто, напоминающее тот ток в позвоночнике, только новые ощущения были грубее, что ли. Двойственность положения терзала меня. Я становился рассеянным. Я стал лгать. Я стал недолюбливать себя. Кончилось все разрывом. Мы не стали встречаться. Не было даже последнего разговора. Просто мы перестали видеться и все.

Первое время я очень переживал. Сомнения, комплекс вины, реминисценции сделались моим Alter Ego. Мне было так скверно, что первое время я даже не заглядывал в свой шкаф. Вероятно, я мог бы вернуть ее, но я прекрасно понимал, что все эти прогулки по парку, беседы ни о чем лишены духовности и порядка. Я пытался бороться с собой, заставить себя забыть, но хандра цепко держала меня в каком-то подвешенном состоянии. Так как подобное случилось со мной впервые в жизни, я был на грани сумасшествия. Даже мелкие красные точки, как при скарлатине, стали покрывать мое тело. Я знал, что болен и принялся искать себе лекарство. Я не мог обратиться к врачам, оттого, что причина моей болезни могла вызвать только смех. Не мог найти ничего подобного в медицинских книгах, что и следовало предположить заранее. Это была особенная болезнь особенного человека.

Что же успокоило меня? Бумаги. Милые, бесценные мои бумаги. Вот что я сделал в один прекрасный момент. Вернувшись домой, как обычно в дурном расположении духа, я, несмотря на ранний час, открыл свой шкаф, достал документы и, улегшись прямо на пол, расположил их кольцом вокруг себя. Это было настоящее магическое кольцо. Помните ли вы Гоголя? Я уснул и проспал до утра сном младенца. Так забыл я порочную эту женщину и вновь жил уединенно.

Мучило меня то, что беседы мои с бумагами, которые вел я на протяжении всей своей жизни, были безответными. В наших отношениях не хватало цвета и плоти. Нет, каждый листочек становился теплее, когда я целовал его или просто держал в руках, но я отдавал себе отчет в том, что это лишь мое тепло возвращается ко мне, не более того. Я видел знаки, составляющие слова, но за ними скрывалось более глубокое, сверхважное содержание. Мне оно было недоступно. В наших отношениях не хватало какого-то звена. Какого-то события. И я просил Бога, дабы оно произошло.

Все переменялось одной пятницей. Это детская моя история вновь заявила о себе. Я уже был на пенсии, но продолжал работать, не ощущая возраста и утомленности. В тот день на моем столе объявились некие документы, коим первоначально я не придал никакого значения. Я бегло просмотрел их, так как особенной важности они не представляли, подобных документов за последнее время стало появляться много, и за них строго не спрашивали. Я уже собирался направить их на угол стола, когда одна фотография привлекла мое внимание. Я присмотрелся, и... сердце мое остановилось. На фотографии был изображен никто иной, как мой позабытый уже дядюшка.

Немота и озноб, и стук машинок давно не слышимый за годы работы в канцелярии обрушились на меня. Я стал бледным, и это было невозможно скрыть от сослуживцев. Я чувствовал их взгляды, и не мог повернуть головы. Это теперь мне стыдно за тогдашнее замешательство, теперь, когда новая реальность занимает меня всецело. Но тогда?!

Мне представлялось, что это – наказание за прежние мои преступления. Когда появились по-настоящему ценные бумаги, кража которых именно спасла бы меня, я не мог этого сделать. Слабодушие заполнило меня и выступило капельками пота. Я даже вспомнил свои прогулки по парку периода влюбленности, и безделица эта вызвала во мне острое чувство жалости к себе. Я струсил. Сделал единственное, что мог, уронив все документы на пол, перемешал их так, как никто не сумел бы. Подобного за мной не водилось, и я легко разыграл внезапное недомогание, с чем и оставил работу. Навсегда.

Дома у меня поднялась температура. Я даже попал в больницу, где и составил увольнительное заявление.

Я был раздавлен. Уничтожен. Ждал последствий, так как в моем учреждении ложь долго не живет. Я держал теперь свои бумаги в чемоданах в камерах хранения на вокзале. Мне мерещился обыск. Но проходил месяц за месяцем, меня никто не тревожил, и я решил вернуть их домой. На вокзалах стали нещадно воровать.

Возвращение с тяжелыми чемоданами в руках явилось для меня немалым испытанием. Но с этого именно возвращения и началась моя одиссея.

Я уже упоминал о тех неприятностях, что преследуют приличных людей на вокзалах в наше время. Здесь и брань, и грабежи, и мошенничество. И, конечно же, моя поклажа не могла не стать предметом любопытства, а позже преследования. Субъект имел рожу бабуина, был небрит и одет в отвратительный зеленый плащ. Слежку обнаружил я не сразу. Просто еще на вокзале я обратил внимание на эту фигуру. Когда же в трех кварталах от этого вертепа, в довольно безлюдном месте я, обернувшись, увидел ее вновь, сомнениям не осталось места. Всякая логика отказала мне, и ноги сами понесли меня к реке. В голове, как заигранная пластинка, крутилась невесть откуда взявшаяся фраза – Не слышны мои печали, не слышны мои печали, не слышны мои печали. И вот я уже на набережной. Повернуться и проверить, следует ли по-прежнему за мной бандит, я не решался. Не слышны мои печали. Однако я не знал,

куда мне дальше идти. Дом мой находился на том берегу, но автобусная остановка – совсем в обратном моему направлении. Я замер и приготовился к смерти. Не слышны мои печали.

Вот тогда, в этой критической ситуации мне и был подан знак. Я увидел на воде несметное количество брошенных бумаг. Широкой извитой дорожкой они как бы указывали путь моего спасения. Я знал, что река наша достаточно глубока, кроме того, я совершенно не умел плавать. Однако присутствие ценных документов и, как выстрел, оглушивший кашель, уже близко, за спиной, заставил меня сделать первый шаг. Будь, что будет. Не слышны мои печали.

Дно реки стремительно уходило вниз. Вскоре вода скрыла мой рот. Я же продолжал идти и идти вперед, зажмурив глаза и затаив дыхание. Песенка моя оборвалась, и скоротечные мозаичные мысли стали вспыхивать и кружить мне голову.

Меня забавляло, как должен был быть напуган грабитель, наблюдавший мое исчезновение под водой. Я сетовал на то, что мои драгоценные бумаги теперь промокнут, и мне придется долго их высушивать. Я был счастлив, что именно они отвели от меня беду. Мне нравилась легкость моего тела и чемоданов. Я фантазировал на тему будущей спокойной жизни, когда мне уже не понадобится совершать подобные опасные путешествия. Я думал о том, что уже свыкся с водой, и мне не было так холодно, как при погружении. Я представлял себе, как уютно должно быть звездам ночью. Я удивился тому, что уже давно шествую без воздуха и ровным счетом не испытываю в нем потребности. Тогда я открыл глаза.

Я открыл глаза и сразу же услышал множество голосов. Это были разные голоса всех тембров и оттенков, от детского до густого баса. Речь их была сумбурной и невнятной. Я смог различить только призыв – Взгляни, взгляни... Как-то сразу я догадался, что это их голоса, бланков моих и справок. Они соскучились по мне, они хотели беседы со мной. Им было, что показать мне.

Когда резь в глазах успокоилась, и я смог различать окружающее, дивная картина предстала передо мною. Среди водорослей всевозможных расцветок и рыбьих стай покоился прекрасный город. Он был точно из гипса. Точно из гипса были белые его крыши со шпильями, с нанизанными на них бумагами. Точно из гипса были его белые лошади, стоящие неподвижно и горделиво с задранными кверху мордами. Над толстыми гипсовыми мышами в прыжке застыли громадные гипсовые коты. И гипсовые люди с папками в руках имели ангельски смиренный вид. Здесь не грабят, здесь не грабят – крутилось в моей голове.

Я шел и слушал. Так давно никто не разговаривал со мной. Взгляни, взгляни...

Когда бы я мог передать вам хотя бы часть нашей беседы, уверен, вы бы совершенно переменили свое представление о природе вещей, но беседу эту нельзя перевести на обычный язык, примитивный язык, с которым мы смирились и который для себя я определяю теперь не иначе как бранный.

Теперь я попытаюсь поделиться с вами некоторыми истинами, что открылись мне в итоге полной страданий и лишений жизни, жизни, тем не менее, увенчавшейся ослепительным успехом. Если советы мои покажутся вам нелепыми, неугодными, скомкайте обычный лист бумаги и представьте себе, что это – судьба ваша. Хотя скомканного листа мне бесконечно жаль.

Полюбите. Выберите себе предмет любви и говорите с ним, не обязательно вслух, лучше всего не вслух, и не ждите скорого ответа, и не ждите, что ответ будет тем, или таким, как вы его себе представляете.

Не идите прямо. Напролом. Ступайте по кругу. Все сколько-нибудь значимые в природе предметы или же явления движутся по кругу. Сами, того не ожидая, вы окажетесь в центре магического кольца. И никто не сможет указать вам на ваш поступок или же предугадать его.

Умейте забывать. В забвении непорочность и чистота. Представьте себе на минуту, что вы не писали того, что написано вами, не говорили того, что сказано вами и не делали того, что уже сделано. Представьте, и вы услышите пение птиц.

Учитесь искусству укрываться. Языки пламени нет-нет, да и посещают наши ночлеги. Так ли крепка оболочка ваших сновидений, чтобы не допустить пожара?

Будьте методичны во всем. И в мутной воде вы сможете в таком случае увидеть собственное отражение, а как много откроет оно вам.

Рано вставайте, или поздно ложитесь спать, оставляйте себе для таинств часы оцепенения ваших мучителей. Не призываю вас к обману, но только так вы сможете приподнять завесу над своим содержанием.

Трижды подумайте, прежде чем рука ваша оставит знак на чистом листе бумаги. Из этих знаков соткана ваша жизнь, ваша и ваших близких. Вспомните мой детский костерок и судьбу мою.

Завтра я, как обычно, поднимусь в пять утра и отправлюсь на поиски бумаг. Я люблю ранний город за его безлюдность, рассудительность и порядок. Еще не сказаны пустые слова, еще не затоптаны бумаги. Сколько их удастся спасти мне завтра?»

С этим Виталий Фомич отложил тетрадку, потянулся. Затем неловко наклонился, закрыл голову руками и беззвучно заплакал. Он ненавидел старость и бессонные ночи.

Письмо второе

Досточтимый брат, в дальнейшем именуемый мною Стилистом!

Как видите, и с азами юриспруденции я знаком, хотя и сумасшедший. Так что бойтесь меня так же, как я боюсь всех, и Вас в том числе. А впрочем, не бойтесь, ведь я же был когда-то и остаюсь Вашим братом, что бы там я себе не говорил по этому прискорбному поводу.

О, ужас!

Стилистом я стану называть Вас по той же причине, что и родители, когда присваивали Вам именно такое имя, а ни какое другое. Они связывали с данным Вам именем определенные надежды. Вот и я связываю с тем, что нарекаю Вас Стилистом определенные надежды.

Впрочем, я всегда называл Вас так!

Интуиция, богиня всех наук!

Тогда возникает вопрос, что же изменилось после того, что я прочел Ваше *Papier mache*?

Вы хороший писатель.

Вы очень хороший писатель!

Вы очень и очень хороший писатель!!!

Вы – Стилист, во что я вкладываю самую громкую из литературных похвал!

Вам светит Нобелевская премия!

Но...

Но никогда больше я не смогу читать Ваших рассказов, поскольку они – яд. А я, хотя существование мое и тщедушно, за исключением тех редких эпизодов, когда мною совершаются попытки самоубийства, в основном хочу жить. Долго. Мне интересно, или совсем не интересно, что, суть, одно и то же, но с разными знаками. И то и другое – свойства живого человека. *Живого*. Но никак не мертвого, хоть с ног до головы вымажьте его самой белой из всех существующих красок. Да еще и синьки добавьте!

О, ужас!

А я провожал с Вами зарю своей жизни!

После того, что я прочитал в своем отражении в старом зеркале, и не делайте вид, что не имеете представления о предмете моей горькой иронии, я сжег все хранившиеся, как Вы знаете, еще с детства, бланки и документы. Оставил только необходимое. Для переписки.

Эти Ваши реминисценции из проведенных вместе лет младенчества и полумладенчества, когда я проделывал опыты со скомканной бумагой?!

Дядюшка. Любимый нами дядюшка. Зачем Вы отправили его в тюрьму?

Не пожалели и отца. Вот уж, воистину, «ради красного словца...»

Между прочим, дядюшка, Царствие ему небесное, любил Вас больше, чем меня и Вам доставались самые лучшие от него подарки.

Впрочем, вы помните меня, и одно это уже хорошо.

Впрочем, все сумасшедшие чем-то похожи друг на друга, и здесь Вы правы. Это несумасшедшие ни на что не похожи! Вот им и приходится страдать насморком.

А я уже думал, что Вы совсем и не помните меня?

А Вы помните и меня, и дядюшку, и отца.

А я их совсем не помню.

Я их не любил.

Наверное.

А Вы, как выясняется, любили и очень! Ибо больше всего укусов от нас всегда достается самым близким.

А дядюшкин театр сгорел. И дядюшка в нем.

А может быть, мне это и приснилось. Мне многое снится.

А Вы, вот, не снитесь!

Уж лучше бы Вы забыли о моем существовании!

Хотя Ваш Виталий Фомич мне даже симпатичен, да нет, не *даже*, просто симпатичен. Одним словом он – из тех людей, на кого стоило бы походить, если бы мировая пропасть не росла так заразительно и притягательно, и когда бы те, кому надобно искать ориентиры, не стремились вслед за Вами заглянуть за ее край, досточтимый Стилист!

Ах, как я люблю Вашу прозу!

Итак, как Вы, наверное, уже догадались, я, пока прочел только *Papier Mache*, и на этом... я растянулся.

А потом поднялся.

А потом подошел к зеркалу, чего не делал тысячу лет, и долго-долго рассматривал себя. И увидел себя.

Вот Вас вспомнить, покамест, не могу. Не обессудьте.

Помню только какой-то прыщ на носу, и больше ничего. А интересно, сохранился ли он у Вас и по сей день?

И что такое был Ваш прыщ, как не знак мне?

Берегите себя!

Совсем вас не помню.

А потому читать Вас впредь не намерен.

Но, благородно присланный Вами журнал, не уничтожил. Он пахнет Вашим табаком. А я Вас боготворю!

Ведь что такое, в сущности люди? Люди – это биологические слепки симпатий и антипатий. Вдумайтесь в эти слова. Вдумайтесь, а затем ответьте мне на один вопрос, – может ли один и тот же человек выглядеть независимо одинаково, с кем бы или с чем бы ему ни приходилось иметь дело? И можем ли мы знать о друге все, или, хотя бы, сколько-то видимую часть всего?

Не бойтесь, не бойтесь, досточтимый Стилист следить за моей мыслью, уверяю Вас, следование за Вашими мыслями много опаснее. Не обижайтесь.

Ну что, ответили на мой вопрос?

Душа Ваша ответила за Вас.

Нет.

И еще раз нет!

У нас нет определенного, объективного облика.

Извольте получить доказательство.

Примись я за описание Виталия Фомича, он выглядел бы совсем иначе. Но я описывал бы только то, что видел, Вы знаете мою нелюбовь к пустым фантазиям!

И Вы, я в этом уверен, описывали его без каких-либо, с Вашей стороны прикрас.

И дядюшка Ваш, это совсем не наш дядюшка. И отец – совсем другой. Каких-то других мальчиков.

Может быть, более благополучных, в бытовом смысле.

Из этого следует, что Виталий Фомич, это вовсе не Виталий Фомич, а нечто совсем другое.

Может быть – ребенок.

А может быть и птица!

Как хорошо становится, когда думаешь об этом, кажущимся совсем близким знакомым, человеку.

Хотя надежд, после всего услышанного от Вас о Виталии Фомиче, на то, что я продолжу чтение Ваших прекрасных произведений, совсем немного.

Что-то удерживает меня!

У меня прекрасная интуиция. В этом мы с Вами похожи. А, в остальном, полная противоположность. Например, вы – не сумасшедший, что, однако, не делает Вам чести.

Будьте прокляты Вы с Вашим Виталием Фомичем! И надо же было написать такое?!

Спаси Вас Бог!

Искренне Ваш Виталий Фомич.

Письмо третье

Дорогой Стилист!

Не сердитесь за столь долгое молчание мое. *Мне запрещено было писать Вам* все эти дни, а, коль скоро Вы – мудрейший человек, поймете, что перешагнуть через такой запрет я не мог.

Теперь же, когда мне легче, и, так называемый Вами «приступ» позади, я вновь обращаюсь к Вам. Ибо новое мое качество, пусть тревожное в своем высшем наслаждении и молодое в своей недосказанности, тем не менее, лишено Ваших красок, а потому я бессовестным образом еще и еще раз вынужден прибегать к Вашей помощи, хотя, и наскучил Вам весьма. Говорю так, потому что знаю наверное – когда я читаю Ваше произведение, у Вас начинается недомогание.

Я прав?

Не списывайте его на последствия принятия спиртного.

Когда у Вас болит голова, водка здесь не при чем, это я вспоминаю Вас.

Перечел Papier Mache.

Сделалось ласково на сердце.

Смотрелся в зеркало. Не испытывал, как в прошлый раз ненависти к себе.

А Вас я любил всегда.

Готовьтесь к мести.

Сумасшедшие очень мстительны.

А вы не знали?

Теперь подробнее о Ваших красках.

Когда, пропутешествовав зачем-то, уже не помню, на улицу, я вновь увидел людей, а точнее, принялся изучать их фигуры, походку, поступки, я в очередной раз поразился крайней невыразительности нашей жизни. Все как бы уплощено...

Разве так нужно говорить или обедать, или мыть руки, или красть, наконец? Ни намека на ловкость, будто бы это страшно стать ярче, красивее. Будто бы сумеи ты иначе повернуть голову, тут же будешь наказан кем-то свыше. Я то сам наверняка не лучше, однако, мысли подобные приходят в мою бедную голову, а люди и не задумываются об этом.

Мы с Вами избранные – Вы писатель, а я – Ваш читатель.

Не смею и помышлять о более тесной связи.

Впрочем, я жесток.

Возвращаюсь к размышлениям.

Людам и нельзя задумываться над этим (см. выше), ибо сумеи они прийти к этому (см. выше), положение их напоминало бы состояние человека точно знающего время своей смерти, а подобное знание и вовсе парализует.

Поверьте, не гордыня овладела мною, но искреннее сочувствие, сострадание.

И впрямь, иногда взял бы Ваши краски, да и добавил, где румянца, где пряностей. Жаль, не владею я Вашим искусством.

Теперь, о главном.

Мне было подсказано самому создавать людей.

Я проделывал подобные опыты и прежде, и многократно. Благо материалом Вы со мной щедро делились с самого детства, а теперь вот прислали журнал.

Я его пока не уничтожил.

Робею.

Итак, у меня было все, что нужно. Мне оставалось только найти немного тишины и сосредоточенности.

Я обрел тишину и сосредоточенность.

И пошло – поехало.

Внешне все это выглядело вполне невинно. Если бы кто-то решил подсматривать за мной, чего я упаси Бог, не исключая, мало того, думаю, что так оно и происходит, вы же знаете двойственность человеческой натуры, так вот, если бы кто-то подсматривал за мной, единственный вывод, который бы он составил, и, разумеется, позже отразил в своем отчете, это то, что я стал пускать к себе людей. Или вступать с ними в переговоры. Или прогуливаться с ними. Или предоставлять свой дом в качестве убежища от других людей на некоторое время.

Люди, преимущественно, увы, а может быть и на мое счастье, не видят дальше собственного носа. И представить себе как дело обстоит в действительности, разумеется, не могут.

Часто созданные мной персоналии оказывались интереснейшими субъектами. Одно, великая досада, век их короток. Так короток, что и за несколько минут успевали они пройти весь путь от младенчества до старости, или же рокового поступка, а роковые поступки совершали они охотно, зачастую уже и против воли своего демиурга.

Ну, вот Вам пример. Я, простаки на простаки, умолял Женечку Хрустального, близорукую, до ломкости изящного поклонника Бальмонта не пускаться в пляс с настоящей и настоящей своей испорченной же Юлькой в желтом этом кабаке, теряясь и растрачивая силы, ибо знал, чем это грозит!

Но разве возможно было удержать его?

И катилась голова его в бильярдную лузу!

А Юлька, часом позже, уже отогревала руки у русской печи и, закатываясь от скабрезного анекдота, глушила шампанское.

После похорон, онемевший, в коридоре, я наблюдал как согбенная над бадьею «постирушек» Аглая осуждающе покачивала головой.

Вот – подумалось мне – долгая жизнь, и только покорность, и ни одного рокового поступка.

А Женечка оказался способным к роковому поступку.

Мой сын и брат!

Именно тогда я попытался представить себе лицо Аглаи в молодости и не смог.

Однако же, как все это печально!

Вспоминая в деталях эту историю, я, обыкновенно расстраиваюсь.

Не стану больше писать.

Мною недовольны.

Да и сам я собою недоволен.

Вы уж простите меня великодушно.

Да и Вас, несмотря ни на что, чрезвычайно жаль.

Ах!

Теперь не зажигайте свет и слушайте.

Я оставил письмо и пытался уснуть, но воспоминания требовали продолжения. Так что я опишу Вам некоторые детали этой печальной истории. Мне кажется теперь, что если я все же поделюсь с Вами, досточтимый Стилист, мне станет сколько-нибудь легче.

Я возвращаюсь назад.

Уже было поздно, что-то около полуночи, когда силуэт Женечки Хрустального стал явственно проступать в темноте. Вы знаете, что в этот час я не зажигаю света, но так редко Господь посылает мне собеседника. Я нарушил свою привычку.

Он показался мне очень худым. Черты же его, точно в пропавшем от времени зеркале, моем зеркале, зеркале в которое я с недавних пор, и Вам известно, по каким причинам, приобрел привычку смотреться, были глубокими и ускользающими одновременно. Дужки очков с большой диоптрией были неестественно подняты к самому затылку. По-видимому, зрение его ухудшалось быстро, а он, любитель чтения, не успевал заказывать новые очки и помогал себе, меняя угол наклона стекол. От этого шея его удлинялась, подбородок стремился вперед и вверх, и лицо странным образом соединяло некую надменность и незащитность. Долгие говорливые пальцы, но в жестах – осторожность. Тогда мне подумалось – вот собеседник до старости.

Как я ошибался!

Двадцать два года! Совсем юноша!

Детство серенькое, с заусенцами.

Кто познакомил его с Бальмонтом?

Поэты на века вперед назначают своих мечтателей, не задумываясь над их судьбами.

Мой великий грех в том, что невольно я оказался посредником.

Женечка знал «Зачарованный грот» на память. Жаль, что он не прочел мне «Арум» в тот первый вечер. Вероятно, это стихотворение имело для него особое, интимное значение. Он читал все, а «Арум» опустил.

А помните, как мы с вами когда-то, в другой жизни читали Арум?

Пустое!

Речь теперь совсем о другом.

Женечка читал все, а «Арум» опустил.

Да ведь это был знак! Я был слишком обрадован, чтобы распознать его.

Он умел понять человека бессонницы и сочувствовать его страху. Мне хотелось назвать его, простите, дорогим Стилистом, братом.

При этом я не поведал ему ничего *из запретного*. Но Женечка читал мои мысли. Такой редкий дар!

Большую часть времени мы проводили молча. Мы пили чай. Он укладывался спать. Я по движениям век следил за его сновидениями. У него были безмятежные сновидения. Много воды. Ему снились озеро, дождь, редко люди, по большей части незнакомые. Утром он отпра-

лялся за покупками, и мы завтракали. Ел он с аппетитом, свойственным его возрасту. По его глазам я узнавал, что за погода на дворе.

Совсем позабыл, насколько Вы младше меня?

Да я и не знал никогда.

Да и откуда мне знать, старше Вы или младше, когда имя-то у Вас не из Святцев?

Так прошло несколько дней. Соседи уже стали обращать внимание на нового постояльца, но не выказывали признаков раздражения, несмотря на всю неприязнь ко мне.

Юлька, нахальная златогривая Юлька, которая зимой после бани «в чем мать родила» выскакивает на улицу, которая ставит впросак кочегаров своей бранью, которая таскает в сумочке финский нож, которая не знает, где теперь ее дочь, Юлька, которая потешается надо мной самым бесстыдным образом и крутит любовь с бандитами, эта самая Юлька разрушила все. В пятницу в девять часов вечера.

Она источала запах вина, духов и пота. Она принесла с собой портвейн и сумасшедший смех. Она – другая, совсем другая и, конечно вскружила голову Женечке.

О, Арум!

Я, слабый человек, сидел с ними и пил этот проклятый портвейн, и даже, на какое то время почувствовал, что мне хорошо, я даже слушал ее, я даже любовался ее здоровьем, и я уснул, и видел пляшущих людей в желтом кабаке.

Так я потерял Женечку Хрустального.

Так я потерял брата.

Простите, Стилист.

Не думайте, что это месть. Это – совпадение. Все, что я рассказываю Вам – чистая правда.

К тому времени вот уже несколько месяцев я не выходил во двор.

Мне нельзя было делать этого.

Однако, после случившегося, следующим же вечером, не владея собой вовсе, проваливаясь по пояс в сугробы, я добрался до ее окон.

Она грела руки у печи, смеялась.

В комнате были плохие люди.

Женечки среди них не было.

Я долго стучал в окно. Я разбил себе пальцы.

Наконец, был замечен. Мое появление в окне вызвало оживание. Юлька сделала непристойный жест и выпила шампанского, а один из бандитов провел ребром ладони себе по горлу.

Мне стало ясно, что они убили моего Женечку. Они отрезали ему голову. Вероятнее всего, здесь не обошлось без ревности.

Несколько дней кряду пытался я восстановить в деталях черты милого моему сердцу собеседника, вернуть его к жизни, но возникало чернильного цвета сукно и матовые бильярдные шары на нем.

В их расположении заложена система. Они, как и карты, могут рассказать о многом, но эта система мною еще не познана до конца. Лишь намеки.

В их стуке я слышал ритм траурного барабана. Так я узнал, что хоронят Женечку Хрустального. Хоронят незнакомые люди. Люди из его сновидений.

Круг замкнулся.

Аглая стирала белье и осуждающе качала головой.

Как Вы полагаете, Стилист, только ли в России столь зловещий смысл может быть заложен в простой игре, скажем в бильярде?

Поклонник Вашего грустного таланта, Виталий Д.

Письмо четвертое

Досточтимый Стилист!

Да возможно ли, чтобы в Вашей или моей ничтожной голове по воле Божией были рассортированы и уложены по полочкам все те беды человечества, что мы остро чувствуем и предчувствуем?

В образах ли ближних наших, или в образах предложенных, а, стало быть, в какой-то степени отчужденных?

Что станется с нами, если это произойдет?

Что мы будем предпринимать, дабы облегчить эти вселенские страдания?

И сможем ли мы жить после этого?

Вот вопросы, которые меня занимают всецело по выписке из больницы, куда, о чем я вспоминаю с благодарностью, Вы с Вашей матушкой поместили меня несколько месяцев назад, преследуя, единственно, цель просветления моего утомленного ума.

Теперь, как вы прозорливо замечаете, я – другой человек.

Мелкое, ничтожное, заботы о своей персоне остались там, где я существовал прежде. Среди ненужных предметов, к которым я причисляю любое вкусное блюдо, любое мягкое место приглашение тела своего, кажущегося теперь не своим, любую фантазию свою, имевшую свойство материализоваться и заполнять пространство, как видно ныне мне, тесное и крохотное.

Из меня будто вынули примитивный механизм, служивший лишь для удовлетворения низменных потребностей, и вложили кусочек неба с солнечными зайчиками, капельками пота ангелов и узорами кружащих птичьих перьев.

Видите ли вы теперь ответственность мою за происходящее?

Теперь мне понятны и Ваши терзания, заботы о чистоте своей и других.

Боже, как же я раньше не чувствовал Вас по-настоящему? Ведь Вы много раньше моего стали таким.

Сколько пришлось Вам пережить?!

Я же, по недомыслию, смел обижаться и дурно устраивать наши взаимоотношения.

Теперь все позади.

Крепитесь, досточтимый Стилист.

Теперь мы вместе.

Попытаюсь изложить Вам свои соображения о будущем. Мне было бы крайне важно получить Ваш ответ с замечаниями.

Первое.

Я стану окончательно сильным человеком. Ведь с тем, чтобы оказать помощь, надо быть сильным человеком. Сейчас я знаю, что в помощи нуждается все, совершенно все, и камни и птицы, и здравствующие и покойные, и любовь и деспотизм, и падение и взлет, и хохот и радуга. Все вызывает о помощи!

Для того чтобы быть сильнее, прежде всего, необходимо как-то приглушить этот невыносимый криком кричащий крик. И у меня есть рецепт. Я испытал его, у меня получилось.

Знаете ли Вы, что если приложить ракушку к ушной раковине, можно услышать шум прибоя?

Того же можно добиться, если особым образом, сомкнув пальцы рук, приложить к уху ладонь. При таком положении крики усиливаются. Такое положение – идеальный проводник крика.

Если же кисть перевернуть и пальцы разомкнуть, наблюдается противоположный эффект. Не то, чтобы наступила полная тишина, полной тишины не существует в природе,

но крик делается не таким интенсивным. По моим данным, он уменьшается в пять целых и шесть десятых раз. А это уже терпимо и оставляет силы для принятия решений и исполнения желаний.

Затем. Необходимо спать. Хотя бы три часа в сутки. Сон- это так же необходимое условие для приобретения силы.

Спите ли Вы, досточтимый Стилист, хотя бы три часа в сутки?

Лекарства, которые по доброте душевной выписывает мне доктор, не дают должного эффекта. Они лишь заполняют ватой каналы информации и, как я понимаю, засоряют эти каналы. Значит, мы не можем ориентироваться, спим мы или бодрствуем. Таким образом, это средство рассчитано на самообман, следовательно, не имеет смысла.

Я нашел средство борьбы за сон.

Для лечения необходим самый обыкновенный коробок со спичками.

Не секрет, что каждая спичечная головка хранит в себе огонь. Если же все спички из коробка расположить таким образом, чтобы, замыкая кольцо, они соприкасались друг с другом головками, их внутренний огонь будет взаимно пожираться. Получится что-то наподобие мертвого или уснувшего солнца, то есть солнца не производящего энергию, а, напротив, поглощающего его. Такое уснувшее солнце способно на время забрать и нашу энергию, то есть... погрузить в сон!

Вопросы старения теперь, при обновлении нашего содержания, нас не могут волновать. Не возьму на себя смелость с уверенностью сказать, что мы с Вами обречем бессмертие, но старение наше значительно замедлится, а может быть и приостановится.

Да, самое трудное, контакт с людьми, окружающими нас в повседневной жизни.

Я пришел к следующему выводу. Нет никакого смысла в общении с ними в самом банальном значении этого слова. То есть вовсе не нужно поддерживать с ними разговор, касаться тем, не имеющих отношения к нашей идее, просить, выслушивать их просьбы.

Надобно твердо усвоить, что все эти контакты разрушают главное, обладание истиной.

Эти контакты уводят в сторону, приглашают следовать по пути лжи, недомолвок и мелочности.

Это вовсе не значит, что Вам нужно проявлять недоброжелательность или непочтительность. Будем улыбаться, смотреть людям в лицо желательно чуть выше глаз. При небольшой тренировке мы научимся понимать их, а они станут понимать нас.

Второе.

Как построить колесо мировоззрения? Иными словами, как упорядочить все знания, коими мы теперь обладаем?

Слава Богу, модель уже существует. Много сделано до нас.

Да, да, вы угадали верно – это колесо обозрения в городском парке. Не тот масштаб, не те задачи, однако модель мы можем использовать, как некогда автор того колеса использовал модель вращения планет.

Центром нашего колеса мировоззрения, бесспорно, станет яйцо. Обыкновенное куриное яйцо. Впрочем, это может быть яйцо гусиное, яйцо страуса, любое яйцо. Невидимые нити покоя связывают мир внутри яйца с необозримым миром извне. Лишь оттого, что нитей этих бесконечное множество, складывается впечатление, что яйцо имеет сплошное непроницаемое покрытие.

Несовершенен человеческий глаз, о чем остается только жалеть.

Как прикоснуться к этим невидимым нитям, как проследить их путь, чтобы оказаться в любой болевой точке и, приняв ее в себя, растворить в светлом чистом пространстве?

Увы.

Я не смогу по-научному сжато и теоретически выверено выразить суть найденного мною решения этой задачи.

Я опишу Вам свой опыт, увенчавшийся успехом, и Вы сумеете последовать за мной, если, конечно, не найдете более простого пути, что вполне может произойти, если уже не произошло.

Третьего дня, в Четверг, *голосами мне была дана свобода действий на четыре часа. Не возбранялось общение с людьми.*

Я мог не только безбоязненно выйти на улицу, но и погулять по улице. Не скажу, что в такие часы свободы я испытываю трепет или какую-либо особенную радость, но физическая работа, как то приготовление пищи или же ходьба необходимы.

По соседству со мной проживает некто Платочкин. Захар Иосифович Платочкин.

Уже в самой внешности этого человека заключен вопрос. Знаете ли, случаются такие люди, во внешности которых заключен вопрос. Это можно прочесть и по особому складу морщин, и по размаху бровей, и по мочкам ушей.

Вопрос этот не таит сарказма для любого маломальского ответа. Напротив, этот вопрос не требует разрешения. Он постоянен и вечен, а потому симпатичен и голубоглаз.

И какая удача, досточтимый Стилист, что Платочкин – молчун!

Мне кажется, именно в этом заключается взаимное тяготение наше, длящееся на протяжении долгих лет соседства. Бесспорно, иногда мы перебрасываемся парой – тройкой ничего не значащих фраз. Кухонные дела. Но, в основном молчим. Никогда я не видел в нем усмешки или сострадания по отношению ко мне, чем бесконечно доволен.

Когда вышеописанные умозаключения окончательно сформировались в моей голове, и я по нужде покинул свою комнату, первым человеком, которого я встретил, оказался именно он, Захар Иосифович Платочкин.

Явственно ощутил Ваш покорный слуга, что это – знак судьбы.

Мы остановились в коридоре друг против друга, и некоторое время беседовали взглядами. Согласно своей методе, я смотрел несколько поверх его глаз, он же, не владея моими знаниями, изучал мои глазные яблоки.

Беседа наша превзошла все наши ожидания.

Дело в том, что в течение длительного периода жизни, Захар Иосифович служит лифтером в многоэтажной коробочке. Так вот, в тот час, когда мы встретились, Захар Иосифович направлялся на дежурство. Из беседы я понял, что для подтверждения верности своих выводов, мне будет весьма полезным проследовать за ним. Как я уже говорил, *они позволили мне быть свободным некоторое время.* И это не случайно, не находите ли Вы?

Опрометью бросился я в свою комнату, оделся наспех и отправился вслед за Платочкиным.

Захар Иосифович ходит очень быстро, и мне, после длительного отдыха в Палатах, с непривычки, было довольно трудно угнаться за ним. Не стану описывать подробно своего состояния, замечу только, что пот холодными струйками обозначал асимметрию моего ушибленного тела.

Вокруг было темно. Я видел лишь его сутулую спину под грязным серым плащом и, влекущий за собой, то и дело повторяющийся поворот головы.

Шли мы бесконечно долго. Может быть, мне так показалось. Наконец, впечатляющая своими размерами и неустроенностью коробочка выросла перед нами. Мы проникли в подъезд. Я увидел рабочее место Платочкина. Его крохотный столик, потерянного вида табурет.

Из увиденного я сделал вывод, что мне нельзя находиться подле Захара Иосифовича, так как своим видом я мог бы подвести его. Как-никак он выполнял, при всей скромности обстановки, самые важные в коробочке функции, он был как бы директором коробочки. И не такой

стол, и не такой табурет должны были бы значиться при нем! А тут еще я, местный сумасшедший, и так далее, и тому подобное...

Оттого решил я скрыться в тени, хотя взглядами в мою сторону, Захар Иосифович то и дело однозначно приглашал меня к себе. Но это – из врожденной интеллигентности. Словом, состоялась, что называется, дуэль вежливости. Я настоял на своем и остался в темном углу.

Я остался в темном углу и внимательнейшим образом стал наблюдать за тем, как жильцы пользуются лифтом. Как вручную открываются одни двери, затем вторые, как располагаются кнопки, приводящие в движение сложный этот механизм. Спустя некоторое время мне показалось, что и сам я вполне смог бы повторить все манипуляции и попытаться вознестись на лифте.

Что-то удерживало меня.

Позже я понял, что именно – я ждал сигнала.

Сигналом к путешествию появление пожилой женщины.

Она рассмотрела меня в темноте. Вероятнее всего меня выдал возбужденный блеск глаз. Женщина вскрикнула и уронила сумку. Это была сумка с продуктами. Как всякая женщина, не взирая на представлявшуюся ей опасность, она незамедлительно принялась собирать продукты. Какие-то пакеты, будто бы колбасу, еще что-то. Действовала она поспешно, стремясь как можно скорее ретироваться. Наконец она исчезла, и я обнаружил, что на полу остался предмет. Я поднял его. Это оказалось... яйцо!

И яйцо не разбилось!

Вот что послужило для меня окончательным сигналом.

Вот когда я окончательно понял, что не зря столкнулся в дверях с Захаром Иосифовичем, и не зря шел за ним, и не зря оказался в двух шагах от лифта, первой ступени в создаваемом колесе мировоззрения.

Движения моих рук, открывающих сперва одни двери, затем другие, были на удивление слаженными, будто всю предыдущую жизнь я только и делал, что возносился на лифте.

И вот я уже в кабине, и в руках у меня яйцо, и нити беспокойства от того яйца.

И в тонком детском плаче, и в целом хоре мужских и женских стенаний.

Замкнутое пространство лифта наполнилось страданием.

До головной боли всматривался я в яйцо, пытаясь вычленить ту, единственную нить, что привела бы меня к точке первопричины боли.

И было это трудно.

Не скрою, досточтимый Стилист, на мгновение, я испытал желание бросить яйцо и бежать. Но, случись подобное, все, все пошло бы насмарку, и я не смог бы довести до логического завершения свой неповторимый опыт.

Мало помалу я успокоился и, наконец, услышал.

Услышал грубый мужской крик, крик, полный отчаяния и безысходности.

Остальной шум стал стихать и сошел на нет.

Я мог приступить к путешествию.

Естественно, я нажал самую верхнюю кнопку. Естественно это потому, что путешествие представлялось мне непременно долгим.

Изначально не было ничего кроме голоса. Вернее было. Ощущение пустоты, пустыни.

«Египет! Вот он – Египет!» пронеслось в моей голове.

Губы мои пересохла и потрескались. Наверное, это явилось результатом перегрузки.

Постепенно пустыня стала оживать.

Возникали узоры, неведомые дотоле. Я не смогу даже описать их. Единственное, чем можно их охарактеризовать, подвижность и некая размытость. Они как бы ускользали от меня, хотя я и не стремился их удержать. Узоры не были красивыми и не имели запаха. Я чувствовал, что каждый в отдельности и все вместе, узоры эти несли какую-то информацию, стремились рассказать что-то, но я не владел их языком, и они были мне непонятны.

Затем появились огни, множество разноцветных огней. Огни искрились наподобие бенгальских, и глаза мои не сразу привыкли к их свечению. Так что изображение пространства вокруг проступало медленно, как проявляющаяся фотографическая пластинка.

То, что предстало, по истечении нескольких минут, моему взору, поразило меня.

Я увидел множество детских лиц. Это были лица девочек лет пяти. Удивительным было то, что девочки эти были похожи как близняшки. Все они были белокурыми и светлоглазыми. В лицах близняшек проживало умиротворение.

Не ангелы ли это? – подумалось мне. Тут же я отказался от своей несвоевременной мысли, потому что присутствие ангелов означало бы мою смерть, а мне предстояло выполнить более важную задачу. Я должен был облегчить не свое страдание, но страдание другого, незнакомого мне мужчины.

Крик оставался тем же. То же наполнение, тот же тембр.

Яйцо, однако, нагрелось и стало жечь руки.

Исчезли огни и детские головки.

Вновь появилась пустыня. На этот раз не было никаких узоров. Пустыня была окрашена в красноватые тона.

Я увидел темную точку.

Точка стала увеличиваться и превратилась в фигурку. Сначала совсем крохотную, затем все больше и больше. Вскоре я смог узнать, чья фигурка предстала передо мной. Это был Захар Иосифович Платочкин.

Он ел суп, суп или бульон, наклоняясь над чашкой и, как мне показалось, с некоторой торопливостью.

Куда, досточтимый Стилист, так спешат русские люди? Не раз эта мысль посещала мою голову. И зачем они стремятся обмануть время? Часы, дни, празднества. Не в этом ли причина провала?

Впрочем, вернемся к моему путешествию. Не долго наблюдал я за трапезой Захара Иосифовича. Он растворился, как растворяется марганцовка в воде.

И вновь пустыня.

Что же, быть может, Захару Иосифовичу голодно живется? Это несправедливо.

Опять отвлекся.

Простите.

Какие-то огромные, изжелта одноцветные люди, бьющие палками друг друга, были представлены мне.

Да так близко!

Казалось, я слышал их дыхание. Но только дыхание. Не было стонов, или звука ударов, или звука падения тел.

И эти люди походили друг на друга как близнецы.

А один из них стоял поодаль и, отвернувшись от меня, справлял малую нужду. Его палка лежала рядом и, что любопытно, был он совершенно безмятежен.

Облегчившись, он поднял палку и вернулся к нелепой этой бойне.

Я очень боялся, что случайно они могут задеть меня, и я оброну яйцо.

Я сжал его изо всех сил и чуть не закричал от боли. Яйцо было совсем горячим.

Я понял, что уже совсем близок к конечной точке своего вознесения.

Миновав эту медленную беззвучную драку, я оказался в коридоре. Коридор этот напоминал мой собственный. И двери располагались таким же образом.

В конце коридора у окна я различил силуэт.

Вот здесь, досточтимый Стилист, Вам, с непривычки, может показаться, что я бесповоротно безумен.

Однако же мне необходимо до конца досказать Вам свою историю.

Я различил силуэт... адмирала Макарова, мужественно погибшего во время русско-японской кампании 1905 года.

Я не мог не узнать его.

Предательство.

Предательство, вот ответ! – крутилось у меня в голове.

Тотчас же я направился к нему. Мне хотелось утешить его или просто положить голову ему на плечо? Не знаю, знаю лишь, что это был порыв.

Я устремился к нему, однако по мере приближения, образ его удалялся от меня, а мужской крик усиливался.

Через некоторое время крик этот стал столь громким, что я безошибочно определил – он раздавался из-за двери справа от меня.

Я открыл дверь, вошел в остро пахнущую кислым комнату.

Крик исчез.

Возникла полная тишина.

На нечистых простынях, одетый в верхнюю одежду лежал Захар Иосифович. Он лежал с открытыми глазами, силясь уснуть. Лежал молча.

Я подошел, положил руку на его веки и закрыл их.

Платочки тотчас же уснул.

Я положил подле него яйцо и вышел из комнаты.

Вот и все.

Теперь мучает меня вопрос. Не адмирал ли Макаров был истинным источником крика?

Не ему ли все же я должен был помочь?

Быть может, вся Российская история повернулась бы вспять?

Не смог, не сумел.

Ведь это был лифт, всего лишь лифт, начало колеса мировоззрения.

Однако опыт мой состоялся.

Начало положено.

И я несколько не жалею, что смог поддержать Захара Иосифовича. Он тоже важен.

Наверное, не менее важен, чем адмирал Макаров или Вы, досточтимый Стилист.

Не так ли?

На руках моих и по сей день ожоги.

Брат.

Письмо пятое

Несравненный Стилист!

Кажется, что в переписке нашей, все более напоминающей мне единый организм, то есть замкнутое пространство, существующее в гармонии, обладающее дыханием, способное передвигаться и мечтать, не хватает одного очень важного звена. Звеном этим является тема, которую мы стараемся избегать оба, что Вы, что я. Вы избегаете ее с тем, чтобы не причинить мне боль, я же, чтобы не причинить боли Вам. Эта тема – психиатрическая больница.

Сегодня я набрался смелости представить Вам ее. Мне думается, что от этого каждому из нас станет легче.

Не стану описывать жизнь в Палатах, дабы не повергать Вас в уныние. Впрочем, уныние Ваше могло бы возникнуть лишь оттого, что сей мир, довольно привычный для меня, для Вас, Несравненный Стилист, что-нибудь кошмарное, несовместимое с нормами человеческого существования.

Все дело во взгляде на предмет.

Итак, разговор пойдет не о Палатах, но об обычном приеме, где мне приходится, как Вы знаете, бывать довольно часто.

Это – та же психиатрическая больница, но образы, энергетические путники, источающие крайне независимое яркое свечение, сменяют здесь друг друга значительно чаще, и складывается впечатление, что суета сия воспроизводится с ускорением.

Движение энергетических путников не происходит по прямой. Это непременно кривые и причиной тому взаимное их притяжение.

При столкновении свечения со свечением возникают уникальные смешанные тона, способные повергнуть в смятение любого, даже весьма значительного художника, вообразившего, что он точно знаком со всем богатством палитры.

Сам коридор амбулатории узкий и темный.

Стены покрыты обоями с болезненными серебристо-серыми крохотными цветочками.

Когда идешь по коридору, складывается впечатление, что он бесконечен.

По этому поводу на память мне приходят рассказы очевидцев, побывавших по ту сторону жизни. Они говорят о тоннеле, по которому проносятся их души. Думаю, что коридор психиатрической лечебницы – некая модель того тоннеля.

Вообще все здесь, каждая деталь, имеет значение. И не в том дело, что мастеровые, подбиравшие обои, или задумывавшие столь узкий и протяженный проход, не обладали достаточным вкусом, но некто свыше распоряжался их мыслями и руками. Иначе не могло быть.

Пройдет время, обои придут в негодность, их поменяют, но расцветка останется прежней. Цветочки проступят.

И не станут крупнее, это я знаю наверняка.

Вероятно, кроме визуального ряда, значение имеет и нечто, скажем, более математическое.

Поясню.

Среди нас есть один бежевый путник, который устроен, пожалуй, посложнее остальных.

Он считает цветы.

При этом счет его, в отличие от обычного, ведется не в одностороннем порядке.

Считает он, предположим, вертикально, сначала в одну сторону, затем в обратную, горизонтально – тем же способом. И так каждый раз.

Я знаю, что он создает некую новую формулу. Это очевидно всем.

Ведь мы то все привыкли думать и жить в одну сторону, двигаясь только в одном направлении, от «а» к «я», от малых чисел к большим, от рождения к смерти.

Жаль, что он никого не допускает к беседе. Но при таком, согласитесь, несравненный Стилист, напряженном труде, любое вмешательство может сильно навредить, нарушить ритм, перепутать все, и многолетний труд, а я наблюдаю его уже много лет, окажется напрасным.

Никто не делает попыток мешать ему, сознавая высокое предназначение исследования, хотя я знаю, у него хватает завистников и недоброжелателей.

У Вас может сложиться впечатление, что я умышленно первым представил Вам гениального путника, чтобы доказать, что вот, мол, среди путников сплошь выдающиеся личности, и один из них, бесспорно, Ваш покорный слуга.

Нет, конечно же, нет.

Среди путников есть и психически больные люди. Они примитивно устроены от рождения, похожи, как члены одной несчастной семьи.

Их свечение совсем слабенькое.

Нам искренне жаль их, и мы стараемся их поддерживать. Делимся пищей, кто приносит с собой, или деньгами, или вышедшей из носки одеждой. Надо сказать, что психически больные путники крайне бедны.

Еще беднее нас.

Главным образом они больны так же и физически. Редко кто из них доживает до глубокой старости. Так что со временем они сменяют друг друга в коридоре, но сходство их, повторюсь, поразительно. И без того многодетная семья их не вымирает, но прибавляется.

Думаю, что главным их предназначением является способность несколько разрядить атмосферу, столь интенсивно пропитанную энергией ярких путников. Вот ведь какая уготована им судьба!

Как же не пожалеть их?

С тем, чтобы описание мое было более наглядным, приобрело соответствующий объем, составлю репортаж об одном моем посещении приема, предположим, последнем.

В любое время года трудно добраться до требуемого корпуса, весной же особенно.

Много грязи.

Лужи глубокие.

Идти трудно.

Кстати сказать, и это имеет значение. Пока следуешь по замысловатому пути, обходя наиболее опасные места, можешь сосредоточиться, собраться с мыслями, вспомнить главное перед грядущей беседой.

Я уже не говорю о том, что грязь, пропитанная духом фармации, весьма полезна и, когда самочувствие относительно покойно, можно и вовсе оздоровиться, просто побродив по двору. Многократно проверял я этот феномен на себе. Тревога, как правило, сопутствующая моим приготовлениям к путешествию в домашности, совершенно улетучивалась, стоило мне потоптаться вот так перед приемом.

В этот день я был несколько расстроен наблюдением падучей.

Очень высокий худощавый мальчик лет пятнадцати, что шел поодаль и беседовал с собою о своем, неожиданно громко вскрикнул и, вскинув руки, плашмя упал прямо в грязь. Судорог не было.

Я поспешил ему на помощь, совсем позабыв об осторожности.

Мне было страшно.

Что, если бы он захлебнулся?

Из путников во дворе не было никого кроме нас.

Уже у самой цели я потерял равновесие и упал рядом.

Голова моя оказалась у самой его головы. Я успел обратить внимание на то, что его нос и рот его – в безопасности.

Он лежал, повернув голову набок и даже приподняв ее в напряжении над грязью. Я успел так же обратить внимание на мраморную бледность его истощенного лица с неправдоподобно тонкими чертами.

Неприятно смотрелись на мертвенном фоне коричневые капли грязи.

«Успел» говорю я оттого, что в следующую секунду его рука крепко ухватила меня за волосы. Пошевелиться не было никакой возможности. Было невыносимо больно.

Так неподвижно лежали мы добрых пять минут.

Нелепым, несравненным Стилистом, показалось бы Вам со стороны это зрелище. Не так ли?

После того, как припадок прекратился, путник красного свечения, а эпилептики, с оттенками, от алого до багряного, отличаются именно красным свечением, отпустив мои волосы, поразительно легко вскочил на ноги. Глаза его были наполнены слезами. Отчего-то он испытывал необыкновенную вину, будто то, что произошло с ним вовсе не болезнь, а проступок, грех.

То и дело извиняясь передо мной, он пустился наутек прочь от больницы. Я звал его, дабы остановить, утешить, но об этом не могло быть и речи. Вскоре он исчез из моего поля зрения.

Какая чудовищная болезнь!

Но вот о чем думаю я. Судьбоносный ток, проходящий через этого бледного молодого человека, поражает ничто иное, как зону совестливости.

Много ли Вы видели, несравненный Стилист, в наше время среди так называемых здоровых юношей людей совестливых?

Наверное, в виду безмятежности эта зона в них атрофируется.

Отсюда все беды и побои.

Мне думается, что каждый человек, хотя бы один раз в жизни, должен испытать эпилептический припадок.

Лучше, когда бы их было несколько. И возникали бы они как раз в тот самый момент, когда бы человек достигал чего-нибудь. Совершеннолетия, власти, денег, или, не удивляйтесь, семейного благополучия.

Ведь семейное благополучие – это всегда твое собственное благополучие за счет другого.

А кажется, будто бы оно и твоих рук дело, кажется будто бы и ты так хорош, что вот оно, как манна небесная, спустилось к тебе, сошло.

Представляется, что и другому, на чьей любви все выстроено, так же хорошо, как и тебе.

И вот уже не за горами соблазн немного расслабиться, и сказать или, того хуже, сделать какую-нибудь гадость.

Потому что, думается, в благополучии этом всякая гадость растворится и следа не оставит.

Это я рассуждаю на основании того, что знаком со многими благополучными семьями, некоторых членов коих даже и хоронить приходилось.

Не без того.

Припадок.

Вот что было им нужно в тот момент, когда они переставали слышать ток под молочной кожей своих жен.

Вот что могло отодвинуть смерть любого из них на год, а, может статься, и на несколько лет.

При научном подходе сроки могут быть скорректированы.

Припадок.

Или два. Один за другим.

Дурного ведь от этого ничего не было бы?

Одежду можно постирать, а душу?

Да, об одежде. Ведь я был основательно испачкан и всклокочен. Будущее пребывание на приеме не вызывало у меня страха. И пациенты, и доктора – люди с пониманием. Здесь не задают лишних вопросов. Если и интересуются, единственно из любопытства. Тревожился же я о своем возвращении домой.

По состоянию сердца и по внутренней беседе я чувствовал, что на этот раз в Палаты не попаду, а, значит, долгий путь домой был неизбежен.

Надобно заметить, вновь наитие меня не подвело.

По дороге домой я был задержан милицией и доставлен таки в отделение для пьющих водку. Выручил меня мой мандат сумасшедшего.

В этом сокрыта несправедливость. Ведь далеко не каждый наш гражданин может заполучить такой мандат.

А почему?

Чем он хуже сумасшедшего, даже если и пьет водку?

И разве среди пьющих водку не может, случайно, оказаться сумасшедших?

В отделении, у представителей власти, пользуясь случаем, я пытался получить ответ на интересующие меня вопросы, но, вместо разъяснений, выслушал много бранных слов в свой адрес, с чем, по прошествии времени, вполне согласен.

Власть – другое измерение. Она существует по другим законам. У нее совсем другой язык и летоисчисление. И даже вопросы мои или Ваши, досточтимый Стилист, не могут быть ею поняты, чего уж говорить об ответах.

И не в том дело, что власть непременно дурна.

Нет, она хороша.

Очень может быть.

Да нет же, так оно и есть, видели бы вы их располагающие к чаепитию с печатными пряниками открытые их лица!

Но, приходилось ли Вам когда-либо говорить с поляком?

Да, да, именно с поляком.

При том что вы бы говорили на русском. А он – на своем родном, польском языке?

Если приходилось, вы не можете не заметить, что языки наши, вроде бы схожи. Угадываются многие слова. Но в точности понять, о чем идет речь не всегда представляется возможным.

Тогда на помощь приходит мимика, улыбки.

В моем случае, в отделении для пьющих водку, такой палочкой выручалочкой явились бранные слова.

Бранные слова – это мимика нашего Вавилона.

Неподалеку от больницы находится река, и я мог бы постирать верхнюю одежду, все одно, я был совершенно мокрым.

Но я не стал делать этого.

При стирке думается хуже, а размышления так и клокотали в моей безбровей голове.

Часто ловлю себя на мысли, что бываю неопрятным.

Врачи считают, что это – одна из примет заболевания, но я думаю. Что мое заболевание много прекраснее, чем запачканные брюки.

Отвлекся.

Вернемся в больницу.

Первая же встреча здесь исправила мне настроение.

Еще издали я увидел своего знакомого главного врача. Это – бывший главный врач санатория, которого, по причине схожести с одноименным речным животным (тот же высокий с залысинами философский лоб, тот же глубокомысленный взгляд, те же протяжные усы), все называют Сомиком. Аналогия с его фамилией Сомов поверхностна.

Не видят дальше собственного носа.

Теперь Сомик оставил свою должность, хотя напрасно. Энергии у этого путника хватило бы на добрый десяток психически больных.

От него исходит небесно голубое свечение.

Вкратце расскажу Вам, несравненный Стилист, его историю.

Это – необычный главный врач.

Он создал санаторий для трупов.

Некротарий.

Весьма благородное и редкое начинание.

И вправду, если существует великое множество санаторно-курортных учреждений для здравствующих, отчего никто и никогда не позаботится об умерших?

То самое невольное недопонимание власть имущих не позволило этой идее получить должного развития. А сколько лестниц пришлось пройти небесно-голубому путнику?!

Представьте себе, находились люди, что открыто смеялись ему в лицо! При том, смеялись те, что десятилетиями не бывали на могилах своих близких.

А по проекту Сомика, умершие благодаря некротарию могли бы получить широко известные, а, в придачу, и особые, редкие процедуры. Электрофизиопроцедуры, массаж, стрижка ногтей, укладка причесок, бритье, восковой макияж и многое, многое другое. Ведь и кожа покойных требует ухода, а может быть даже более тщательного.

Вероятнее всего кому-то казалось, что подобное предприятие может оказаться невыгодным с материальной точки зрения?

Какая недалёковидность!

Им невдомек, что мертвые, или без пяти минут мертвые, теперь и есть – самые богатые люди! А таких, не понаслышке знающих, что такое смерть и всем сердцем любящих ее, в наше время очень много.

Сомик так настойчиво отдавался воплощению своих идей, теряя и путая в работе день и ночь, что потерял семью, достаток, печень.

Все – тщетно.

Конечно, на определенном этапе и нервная система не выдержала.

Он угодил в Палаты.

Даже после интенсивного лечения, с использованием санитаров и оков, нервную систему восстановить не удалось. Он вынужден был сдать и оставить свой высокий пост.

Правда, он говорит, что нашел себе замену среди молодых, но я что-то неохотно в это верю.

Поколение лучших времен вряд ли знает, где, обыкновенно пребывают самые достойные. Мне кажется, что замены ему все же нет.

Впредь я умышленно постараюсь опускать имена близких мне путников. Они ничего не дадут Вам, несравненный Стилист. Ведь не станете же Вы с ними знакомиться?

Ваш мир – это Ваш мир, мой мир – это мое, уж простите великодушно.

Ну вот, дружественного мне Сомика, не успели мы и переброситься парой замечаний о былом и грядущем, пригласили в кабинет. И я остался один.

Напротив меня на лавочке своей очереди ждала семейная пара.

Муж и жена.

Вы, как стилист можете сделать мне замечание – зачем подчеркнуто «муж и жена», если и так очевидно, что семейная пара.

Но разве вам не встречались совсем другого свойства семейные пары? Например, муж и его тень, или жена и ее новое платье?

Впрочем, Вы то уж никогда не сделали бы мне подобного замечания.

Простите, великодушно.

Почему-то эти муж и жена постоянно дерутся. Они не делят ничего. Им нечего делить. Но дерутся всегда. Я знаю. Дерутся как дети в определенном возрасте. При том, им и в голову не приходит, что это может быть смертельно.

И в этот день у нее на лице цвел изумительный по красоте синяк.

Я давно коллекционирую синяки. Можно сказать, с детства. Такого синяка я не встречал никогда. В нем было что-то от прогулки по осеннему лесу, туманного Альбиона. Грустный, задумчивый синяк. Синяк цвета угасающей любви.

Но почему, почему они всегда дерутся?

Отчего они бьют друг друга?

Это – неразрешимая для меня загадка.

Я же отлично вижу, как трогательно он держит ее за локоток, когда они преодолевают двор!

Быть может ссоры – неотъемлемая часть бытия?

Благие намерения, ну вот хотя бы как у вышеописанного небесно голубого путника – неотъемлемая часть бытия и ссоры, также неотъемлемая его часть?

В этом равновесие, проиллюстрированное в нашем случае синяком и локотком, локотком и синяком?

Но позвольте, зачем же надобно подобное равновесие?

Ведь в случае абсолютного равновесия зло непременно поглотит добро, а добро, соответственно – зло?

Добавленный в мед деготь испортит мед, а подаренный после побоев пряник родит улыбку.

Но мед будет продан и съеден, а улыбка будет забыта.

Запомнятся дурной привкус и побои.

Получается бессмыслица.

Загадка, несравненный Стилист!

Уж как было бы хорошо, если бы Вы попытались разрешить ее!

Перехожу к Ростовщику.

Иногда мне кажется, что я – единственный, кто во всей больнице знает, что он – не путник.

От него совсем не исходит свечение.

Я долго размышлял, почему так, и, наконец, *мне была поведана его история.*

В недалеком прошлом он очень и очень преуспевал, в расхожем и опасном значении этого слова. Одним словом, у него было много денег.

Его сгубили вещества забвения.

Вещества забвения всегда находятся подле денег.

Уж не деньги ли генерируют их?

А, может быть, наоборот?

Так или иначе, он обратил на них внимание, затеялся с ними играть.

И, разумеется, стал пустым.

Полость же, а пустота, вне всякого сомнения, является полостью, требует сна. Сон – единственное, что, расселяясь в пустоте, не источает запаха скорого убийства.

Пустые люди, в большинстве своем, не знают этого, но чувствуют.

Вот он и ходит сюда, чтобы пополнить запасы своих сонных таблеток. Он не может жить без них.

И умереть без них не может.

Впрочем, мысли о смерти не посещают его. Отсюда – отсутствие свечения.

От периода бодрствования у него осталось только тяжелое кольцо из цыганского золота на мизинце.

Разве он не болен – спросите Вы меня, Стилист – когда вся его жизнь сон или жажда сна?

Болен.

Конечно же, болен.

Но болезнь его смог бы утолить только священник, когда бы в одном из сновидений, Бог явился ему.

А Ростовщик не помнит снов. Ростовщики и бывшие ростовщики боятся снов, потому и носят на пальцах тяжелые кольца, а на шеях – тяжелые цепи.

И принимают его всегда недолго.

И нас он безразлично стесняется.

И уходит тихо, оставляя после себя тягостную тишину.

Путники замолкают, когда видят его.

Они знают – это злой человек.

Вот он ушел, и мне захотелось спать.

Кто-то из нас теперь, по пришествии домой, обнаружит у себя в кармане деньги. Небольшие, но деньги. Прежде их не было.

Хорошо, если «осчастливленный» сообразит здесь же выбросить их, как сделал я однажды в подобной ситуации.

А если нет?

Кто знает, чем обернется для него подобная неосторожность?

Есть среди путников доверчивые люди, которые вступают с ним в беседу.

Это грозит им бедой.

Скорее бы уже Ростовщик стал путником.

Со временем это может произойти.

Если, конечно, прежде сон не будет прерван чем-нибудь неприятным, например, тем же убийством.

А вот – сказочно любопытная путница.

У нее огромная, как в сказке, голова, крупные черты лица. При этом тело хрупкое и миниатюрное.

Я слышу, что она все время думает о кошках, но мысли ее так глубоко, и я не могу разобрать, что именно она думает о них. Я не различаю, плохо или хорошо ей в связи с кошками.

Что сделали ей кошки, или что она сделала им? Однако то, что она думает только о кошках – очевидно.

Естественно, коль скоро она так глубоко прячет свои мысли, внешнего контакта с ней не может быть. Она молчит и на приеме. Выражение лица у нее нейтральное, нет скорби, нет радости, полное безразличие.

Свечение ярко желтое. Крайне редкое свечение. Она непредсказуема, а значит когда-нибудь какая-нибудь диковина непременно случится.

Есть у меня смутное предчувствие, это так, не наверное, что она сможет материализовать свои мысли.

Я не удивлюсь, если вдруг в коридоре появится кошка.

Вот если это произойдет, все вопросы отпадут сами по себе.

А может быть после этого она сможет заговорить и представить нам какую-нибудь удивительную историю об Египте. Ну, конечно же об Египте, раз уж здесь замешана кошка.

Вот тогда Майор, наверное, скажет свое слово.

Майор здесь же.

Он молчит.

Он всегда молчит, этот Майор.

Если бы Вы, несравненный Стилист, увидели этого красивого человека с длинными, ниспадающими на плечи седыми волосами, Вам непременно захотелось бы познакомиться с ним покороче.

Он служил в Египте, только об этом никто не знал.

Скорее всего, и он сам не сразу узнал об этом.

Представляю себе его удивление, когда однажды, песчаная дымка рассеялась, и ему явились пирамиды.

Или же лик сфинкса.

Нос к носу.

Но ему, после ранения в голову, было велено, чтобы он забыл о незабываемом.

Они очень успокоились, когда он сделал вид, что совсем потерял память.

На деле же Майор помнил все.

Все до мельчайших подробностей.

Только оттого, что ему всегда приходилось делать вид, память его обострилась, и сфинкс заговорил.

В один прекрасный момент всем разрешили все вспомнить. Многие, надо сказать, сдуру, воспользовались этим.

Но, для Майора это уже не имело никакого значения.

Египет полюбил его, и не смог отпустить.

Египет, вслед за ним явился в Россию.

И у Майора открылся необыкновенный дар. Он стал кладоискателем.

Сфинкс, наверное, желая таким необычным способом сделать другу приятное, стал указывать ему местоположение всевозможных сокровищ.

Множество изделий из золота и платины ему удалось найти прямо неподалеку от больницы.

И каждый раз, когда Майор идет на прием, у него в руках большая хозяйственная сумка. По дороге он набивает ее сокровищами.

Но его золото всегда будет принадлежать только ему.

Однажды неслучайный человек обнаружил содержимое сумки Майора. Неслучайный человек знал о драгоценностях все, или почти все.

Неслучайный человек взял в руки один из огромных слитков и... долго смеялся.

Человеку слиток явился обыкновенный камень.

Египет смеялся так, что у путников, присутствовавших при этой сцене в больничном коридоре, еще долго стоял звон в ушах.

Конечно, Майор мог бы и не следовать указаниям сфинкса, но его тянет к кладам.

Оттого, что он презирает, как и положено путнику, золото, каждый день он пьет вино.

Он предпочитает розовые вина.

Они кажутся ему наиболее отвратительными на вкус, а он хотел бы ненавидеть вино так же, как он ненавидит золото.

Пока это ему не удастся.

У Майора розовое свечение.

Я уверен, что у него изредка случаются припадки падучей.

Он несметно богат, этот майор.

Плохо то, что он совсем одинок и это богатство ему совсем не нужно.

Да мы, несравненный Стилист, все одиноки.

А Вы, разве Вы не одиноки, несравненный Стилист?

Бедный, бедный майор.

Он всегда молчит.

Всегда.

Но однажды, я уверен, он скажет свое слово.

И мы поймем, что Египет с нами.

И в обыкновенном учебнике истории для пятого класса мы можем узнать все о своем будущем

Вот и мой черед.

Подошла моя очередь.

Пальто мое недостаточно еще просохло, и грязь не была видна так, как проступила позже, к моменту моего попадания в отделение для пьющих водку. Так что у доктора моего вопро-

сов по поводу неопрятного вида путника не возникло. Да будь я и в грязнущих этих пятнах, повторяюсь, здесь, на приеме, подобных вопросов не задают.

Что рассказал я своему доктору?

Так, ничего особенного.

Тех откровенностей, подробностей, что существуют в нашей с Вами, несравненный Стилист, переписке не прозвучало, так как доктор мой знает все об этом и так.

То же самое я прекрасно знаю все, что происходит в его жизни. Экран белого халата столь условен, что служит лишь неким символом, наподобие дирижерской палочки, что указывает, этот вот – путник, этот вот – врач, а тот – дирижер.

Вообще, раз уж речь зашла о докторах, скажу Вам, хлеб у них трудный.

Вот я вперед рассказывал Вам о траекториях свечения, но я исключил из своего рассказа докторов.

Может ли свечение не коснуться их? Они работают с путниками каждый день. В кабинетах их остается след от каждого посетителя. Окна их кабинетов зарешечены. А значит, выхода флюидам нет.

Флюиды остаются там. Они накапливаются, приобретают необыкновенную силу и посещают собственно души докторов.

Им кажется, что этого не происходит, вернее, в большинстве своем, они делают вид, что не замечают этого.

Но это не так.

Мы очень схожи с докторами.

И доктора становятся путниками.

Только происходит это с ними вне стен больницы. Там, где они уже не могут защитить себя манипуляциями, заклинаниями, строгостью.

Вне больницы они производят впечатление странных людей. И привычки у них странные.

Они, как бы, и не мы, и не те, с кем им приходится общаться в повседневной жизни.

Они часто наживают врагов, разводятся, пьют.

Мне кажется, что если бы моим соседом по дому был психиатр, рано или поздно мы стали бы жить вместе.

Как и предполагалось, в Палаты я не был отправлен. Я получил свой укол, а это – на целый месяц.

Все обошлось.

У меня было неплохое настроение, только вот мальчик эпилептик не выходил из головы.

Ну, как? Я вас ничем не расстроил, не поразил?

Теперь Вы имеете представление о моих делах.

Так что, беспокоиться за меня не следует.

Ничего страшного, как видите.

Рассказал, и мне облегчение.

А Вам?

Не станете Вы теперь мучить себя мыслями о том, что я посещаю подобные заведения?

Мне бы очень этого хотелось.

Знаете, Несравненный Стилист, я никогда не говорил Вам этого, но мне кажется, что я Вас очень и очень люблю.

Не представляю себе, что случилось бы со мной, не будь я уверен в том, что Вы есть.

Как бы мне хотелось хотя бы раз увидеть Ваше лицо?

Нет.

Этого нельзя.

Этого нельзя ни в коем случае допустить, иначе может произойти непоправимое. Я не знаю, что именно, но знаю точно, это окажется непоправимым.

Не вздумайте как-нибудь явиться ко мне.

Меня нет.

Не существует даже дома, где я проживаю.

Ну, зачем Вам я, подумайте сами?

Довольно и того, что я регулярно пишу Вам.

Я искренне испытываю в этом потребность.

Делаю это каждый день.

Только, чтобы не докучать, не все письма отправляю.

Вот это, например, сожгу вместе с Вашим журналом, так как оно содержит секретную информацию, а я вам, простите, не до конца доверяю.

А если уже быть предельно точным, совсем не доверяю.

Будьте Вы прокляты со своим Виталием Кузьмичом!

Как жаль уничтоженной, благодаря Вам, мною коллекции бумаг и документов!

Мне не простят этого!

Однако я неожиданно проголодался, да и добавить к сказанному нечего.

Я и так показался себе сегодня чересчур болтливым.

Вот, приблизительно, какое действие оказывает на меня этот ежемесячный укол.

Ну, да не судите строго.

Проголодался.

Ваш знакомый путник.

Р. С. Как Вам мой дар рассказчика?

Способный я ученик?

А не учимся ли мы друг у друга?

Дурная мысль.

Простите.

Вы – прекрасны!

Будьте счастливы в своем пьянстве, и дай Бог, чтобы когда-нибудь Ваша голова не пока-
тилась бы в лузу.

Прозрачные дни

После наступали прозрачные дни.

Это время богословов и выписывающихся из больницы. Это неопределенное время года, когда слабость луж в их недвижимости, а сила зеркал в черных звездочках беспокойной памяти, осыпающих смотрящегося как герпес в угоду далекому предку, проглядывающему неукоснительно и строго сквозь марево кофе и нафталина.

Сложный душевный конфликт в эти дни побуждает птиц к вдохновенному молчанию.

Соседи напротив, подобно средневековым химерам, неподвижные в своих слюдяных окнах, высматривают друг друга, не видя, и не зная друг друга. Символы, знаки и прочие намеки отступают, оставляя место детской ясности. Карусели и парадные дома теряют пестроту. Солнце, пройдя в восторг от внезапно и остро проявившегося в подопечной плоскости вкуса, выстраивают из лиловых ветвей и теней свою умопомрачительную симметрию.

Алкоголики и математики становятся многословными и остроумными, им дышится легко.

Смертельно больные делаются неисправимыми оптимистами и строят грандиозные планы на будущее.

Их дыхание легко покидало покрытые испариной форточки и затевало удивительные узоры, когда наступали прозрачные дни.

Всякий запой есть ни что иное, как обращение к смерти.

Всякая головная боль есть ничто иное, как обращение к жизни.

Исповеди, ложь, жалобы, суть неприкаянность, суета тоньше и чище громоздких, до неприличия грубых вопросов, которые ставят перед нами так называемые реалии бытия.

Те, кто с успехом отвечает на подобные вопросы, подчас наслаждаясь их отталкивающим видом, делаются похожими на утварь, при всей надежности и блеске в хороших руках. Они принимают жесткость предмета.

Я бегу от них в сырость.

И не для них мои прозрачные дни.

Мой Седовласый Юноша с васильковыми уже глазами случайно забрел в зоопарк и полчаса стоит, пораженный длиношеести жирафа. Не впервые видит он это диковинное для всякого русского создание. Не в этом дело.

А дело в том, что видел он жирафа, вот так вблизи, последний раз, когда был еще шестилетним мальчиком, и отец его был еще жив, и фотографировал его фотоаппаратом «Зоркий», и с тех пор минула целая вечность, а жираф такой же долгий, и так же добр и снисходителен к нему, побродившему по закоулкам, прохуdivшему такие хорошие башмаки и посадившему жирные пятна на брюки.

Вот он стоит напротив жирафа и ход его мыслей таков.

Когда бы он, Седовласый Юноша, не был бы так бестолков, и не умудрился бы из-за пьянок и характера, характера и пьянок потерять сначала работу, а потом и семью, когда бы его красавица жена не нашла бы себе другого, и хотя бы иногда разрешала ему видеться с его Аленушкой, он бы обязательно побрился, вычистил костюм, взял тот самый «Зоркий» и привел бы ее к этому жирафу, и показал бы Аленушке длинношеего этого жирафа, и они стояли бы с ней так же завороченные и восторженные.

Конечно, лучше, если бы это был не зоопарк, а настоящая саванна.

Тогда с жирафом можно было бы побеседовать вполголоса, не привлекая хищников.

И совершенно напрасно люди думают, что животные не понимают человеческого языка. Все они понимают, они же не люди, возмнившие о себе Бог весть что.

И уж если не ему, спрятавшему свою жизнь, так его маленькой дочурке жираф ответил бы не словом, так жестом.

А может быть, склонив свою гордую шею, предложил бы покататься.

И как он, Седовласый Юноша, а на самом деле самый лучший на Свете отец, задыхался бы от счастья, следуя рядом с ними, и осознавая, что только он смог устроить Аленушке такой праздник, и что она запомнит его на всю жизнь, и когда будет немного постарше, твердым голосом заявит красавице маме – Я хочу видеть своего настоящего папу.

И красавица мама закричит, а может быть заплачет и укажет на «настоящего папу», который, как обычно, кушает, обращенный ко всему внешнему миру затылком, кончиками ушей и желваками.

И Аленушка не пожалеет свой самый большой и самый синий шарик, и подкрадется к своему «настоящему папе» и булавочкой хлопнет шарик около его больших и старых ушей, и, от неожиданности, тот прольет на свои светлые брюки горячий борщ, и никакой, самый лучший, самый иностранный стиральный порошок не сможет отстирать их, что превратит красавицу маму в печальную красавицу маму, и брюки можно будет одевать только в огороде,

а на ногах «настоящего папы» образуются волдыри, и держаться они будут долго, и ходить он будет растопырив ноги, от чего Аленушке будет смешно, и это лучше, чем когда она плачет, вспоминая Седовласого Юношу, который катал ее на жирафе по саванне.

Неподалеку от Седовласого Юноши, что стоит вот уже полчаса, пораженный длиношеестью жирафа, на скамеечке отдыхает Добрая Женщина. С каждым годом ей все труднее ходить, и она часто отдыхает, присаживаясь на скамеечку.

Она носит чернильного цвета берет, что выдает в ней старую ленинградку, и сама себе кажется уже не старой ленинградкой, а ленинградским таким невозмутимым и благообразным голубем.

Она наблюдает за Седовласым Юношей и ход ее мыслей таков.

Когда бы она, Добрая Женщина, была бы еще молодой изысканной женщиной, она влюбилась бы в этого юношу художника.

Редко можно встретить благородного юношу, часами изучающего жирафа.

Он, Седовласый Юноша, посвятил свою жизнь цвету.

Он отказался от сытого и однообразного быта одиножды и навсегда только лишь для того, чтобы постичь, как возникает гармония.

Теперь он одинок.

Уж это она, Добрая Женщина, видит. И дело вовсе не в жирных пятнах на брюках и изношенных башмаках. Дело в васильковых глазах, одновременно ярких и прозрачных, вот как этот прозрачный день.

И как смолоду попадают такие Седовласые Юноши, раздаривая влюбленность, вручая свои сердца женщинам-стервам, женщинам-вампирам, холодным и жестоким?

Добрая женщина видит те дни, когда Седовласого Юношу ждал Париж, обожали влиятельные друзья.

В те дни он был франтоват, так казалось, во всяком случае, хотя на самом деле все было иначе.

Добрая женщина видит, как Седовласый Юноша в ослепительно белом костюме сидит в своем кресле-качалке, много курит и старается гнать от себя земные мысли. Только бы не упустить мелодию, только бы не забыть каждую деталь в полете дождя.

Она видит, как он закрывает лицо ладонями и раскачивается в такт осени. Она видит, как уже поздно вечером в комнате вспыхивает яркий свет, и появляется его красавица жена, а стервы частенько бывают красавицами, с запахом вина и распушенности, и устраивает ему сцену ревности, и какой уж здесь Шекспир, и уж лучше бы Седовласый Юноша закрыл не лицо, а заткнул бы уши, оттого, что крик разбивает мелодию, и мелодия рассыпается на мелкие стеклянные бусы, и закатывается бусами во все щели неужоженного пола.

И тогда он поднимается со своего кресла-качалки, снимает свой ослепительно белый костюм, оказываясь в непозволительно рваной тельняшке, что уж совсем не по душе Дobreй Женщине, и уходит на кухню, и готовит простой и невкусный ужин, и заставляет себя съесть его целиком с тем, чтобы уткнуться затем головой в подушку и попытаться уснуть. Однако сон не приходит, а когда все же приходит, производит ужасающее впечатление своей сиростью и монотонностью. Что-то из домашней утвари.

Сон в посудной лавке.

Понутру Седовласый Юноша обнаруживает, что костюм его облит кислотой или еще какой-нибудь гадостью, наподобие борща. Вещей же красавицы жены уже нет.

Добрая Женщина явственно видит как, не в состоянии справиться со своей влюбленностью, Седовласый Юноша все чаще уходил на улицу, встречал друзей, как всегда завистливых и разбойных, и они таскали его по всевозможным пивным и прочим забегаловкам, как, напиваясь, он чувствовал себя не художником промозглых улиц, а живописцем самого, что ни

на есть легкомысленного Парижа. А легкомысленный Париж не умел быть верным и забывал его, и незаконченные картины покрывались пылью.

И Господь Бог, не в силах исправить загубленного дара и водить боле рукой художника, сам принялся за дело и превратил глаза его в чистейшую акварель.

Так проходили годы, и Седовласый Юноша становился глупым и болтливым, точнее не болтливым, а певучим.

Он старался передать свою мелодию всем знакомым, особенно тем, кто помоложе.

Те, кто еще узнавал в нем мастера, настраивали свой слух, но мастер фальшивил, и его жалели.

Добрая Женщина видит, что совсем недавно Седовласый Юноша тяжело заболел.

Он долго лежал в больнице. Жизнь была ему совсем не мила, и он уж совсем хотел было сдаться, но произошло чудо.

Однажды утром он услышал ту самую мелодию.

Он убежал из больницы. Он долго искал цвет мелодии, и он нашел его здесь, в зоопарке, где животные так же несчастны, как он сам, но души их наивны.

Здесь он отказался от своей памяти, и теперь лишь смерть сможет нарушить его удивительный слух.

Добрая Женщина видит это.

Вероятно, долго еще смог бы простоять он около клетки с жирафом, когда бы не мелкий морозящий дождь, который обыкновенно случается в такие дни.

Денег было только на бутылку портвейна, и оттого ли, что напиток этот был им столь нелюбим, а, скорее всего, оттого, что похмелье становилось очевидным, движения его в винной лавке были извиняющимися и вороватыми, что, впрочем, сродни.

Дома он не стал раздеваться оттого, что продрог. Поступок этот был лишен всяческой логики, так как одежда его была мокрой и нещадно колола тело.

Он выпил первый стакан портвейна, затем долго прислушивался, когда разрастется горячий ком и ознобом выгонит из него дождь и тоску.

Наконец это случилось. Тогда он лег, не разуваясь, на схожий со старым плюшевым мишкой диван и стал вспоминать внешность своей жены. Откуда подобная блажь возникла в его голове, он не понимал, но поделаться с собой ничего не мог. Упражнение давалось ему с большим трудом. Например, он никак не мог вспомнить на правой или на левой щеке у нее родинка? И зачем ему это понадобилось?

Станным было и то, что при воспоминаниях этих он не испытывал привычного чувства раздражения и ненависти.

Он подошел к форточке, выдохнул из себя пар и проследил за его витиеватым движением.

Постоял у окна еще некоторое время и, повернувшись, уже уверенно, не стесняясь своего поступка, шагнул по направлению к книжному шкафу, где в Диккенсе чудом уцелела ее фотография.

Это было уже не любопытство. Ему захотелось повидаться с ней. И мысль об этом на какое-то время заслонила даже воспоминания о путешествии с дочерью по саванне.

Все же она удивительно хороша собой – думалось ему, когда он разглаживал на ладони ее несколько сморщенную фотографию.

С такой женщины портреты писать надо. А ведь и он когда-то в детстве неплохо рисовал. Он помнил, как мама водила его в художественную школу. У нее была горячая ладошка, а на нем ослепительно белый матросский костюмчик.

Уже к вечеру она добралась до своего запущенного, как ей всегда казалось, сада. Всю дорогу шел мелкий морозящий дождь, который обыкновенно случается в такие дни.

Не могло быть и речи о том, чтобы пойти посмотреть яблони.

Она проникла в ореховый свой домик, растопила «буржуйку», поставила чай.

Устала. Даже пальто, хоть и промокшее, снимать не хотелось. Быть может, и так обсохну – подумалось ей.

Хорошо бы не чаю, а вина выпить, согреться. Она долго растирала свои замерзшие руки, наслаждаясь тем, что тепло понемногу завоевывает комнату.

Вспомнила дочь. Удивительно, что дочь вспоминалась маленькой, в те еще времена, когда она водила ее в зоопарк. У дочери была маленькая горячая ладошка, длинные косы и огромные васильковые глаза.

Нужно поискать ее фотографию того времени. Она где-то в книгах, кажется в Диккенсе.

Письмо шестое

Бедный, бедный Стилист!

И бедный, бедный, бедный, бедный Я, Ваш брат, поклонник, слуга, Ваш бедный доктор, так полюбивший свою клятву, но совсем, совсем позабывший ее слова, себя позабывший, все, что было хорошего и очень хорошего, позабывший.

Нет, не то. Не «позабывший», не захотевший увидеть.

Дурак!

Не сумасшедший – дурак! Да еще какой!

Гордыня!

Ах, какой это страшный грех!

Люди, когда говорят – вот, дескать, гордыня страшный грех, на деле и не подозревают, что, может быть, впервые в жизни говорят правду!

Только что прочитал я Ваши «Прозрачные дни».

Теперь ясен Вам мой стыд?

И Вы молчали?

Получали мои, полные самолюбования письма и молчали?

Впрочем, вы всегда молчите, чего это я, вдруг? Своим молчанием Вы любезно оставляете мне пространство для самобичевания.

И вновь – гордыня!

Нет, не то – досада! Но отчего мы не можем быть вместе?! Разве, когда вы рассказали бы мне все о своей старости, мне, или Виталию Фомичу, я согласился бы постоять за зеркалом, разве так то было бы не лучше, нежели когда Вы один на один с бумагой?

Вы еще более одиноки, чем я. Да нет же. Вы, единственный, одиноки. У меня есть... у меня много чего есть, а у Вас, у Вас – ничего.

До чего же наивны люди, люди за которыми я наблюдаю с тревогой и нежностью, люди, которые рассчитывали на то, что колесо способно все, все изменить! Будто бы свободно передвигаясь по плоскости можно оказаться рядом, когда это необходимо!

Как хочется мне оказаться рядом с Вами и не обнять, нет, помолчать вместе.

Не то.

Как хочется моей старости оказаться рядом с Вашей старостью и помолчать вместе.

Они вместе со мной слушали Вас. Слушали и молчали.

Прошло больше трех часов, как я, еще недавно заверявший себя в том, что более никогда не прикоснусь к Вашей прозе, в слезах отложил «Прозрачные дни», а они все молчат.

Впрочем, это – слабость.

У Вас есть водка!

Это у меня нет ничего.

Ах, как жаль. Что у меня нет брата! Прости меня, Женечка Хрустальный, ты был лучше.
Ну как, скажите на милость, как я могу помочь Вам, люди?
Вы любите людей? Вы надеетесь на них? Но они же сами беспомощны!
Путешествие. Вот спасение.
Простите, не могу больше писать, *меня призывают в дорогу*.
P. S. Как-нибудь я Вам непременно покажу так называемых людей. Напомните мне.
А теперь, простите, спешу!
Спешу на помощь!

Письмо седьмое

Мудрый Стилист!

Я уже давал Вам знать о теперешнем моем увлечении людьми.
Это обстоятельство и придало мне сил в удивительном и полном опасностей путешествии в Палаты.

Забегая вперед, доложу, что до Палат я так и не добрался, а предписание было мною утеряно. Но, после случившегося, это уже не имеет значения, так как теперь все будет совсем по-другому, и даже само понятие «болезнь», вероятно, будет иметь совсем другое значение.

Теперь, когда все позади, и я переполнен впечатлениями, охотно берусь описать Вам это путешествие.

Не думайте дурно о поездах, не повторяйте ошибки моей молодости. Поезда – таинственные и честные дома.

Пассажиры, их постояльцы, так естественны в своей скованности. В общих вагонах они просто наги. Чтобы раскрепоститься, им необходимо разговориться или напиться, или уснуть.

Редкий пассажир лжет, чувствуя себя запросто в компании чужих глаз. Этот редкий пассажир наделен талантом лицедейства. Таких мало.

Я не говорю здесь о детях, дети – не в счет.

После птичьего вокзала в поезде оглушительно тихо.

Это оглушение не покидает меня до самого окончания путешествия. В этом великое мое спасение.

Такое ощущение, будто мозг покрыт толстым слоем ваты, и краски меркнут.

Боязнь перрона и людей его вскоре отступает.

Мучитель мой, зевнув, удобно располагается во мне ко сну.

Открывается дверь и входит Наблюдатель, самый главный Наблюдатель со щемящим взором и, (Ах!) в костюме железнодорожника.

У него шаркающая походка.

Он медлителен и угловат.

Он не насторожит, если даже облокотится на плечо или же приобнимет за шею и заглянет в самые глаза.

Если он шепнет что-то совсем тихо на ухо, наблюдаемый будет думать, что ему пригрелось или спишет на сквозняк из тамбура.

Когда путешествие заканчивается, *и мучитель, вздрогнув, озирается по сторонам*, главный Наблюдатель исчезает, оставляя после себя свечение.

Позже не будет и свечения, но в памяти распустится еще один цветок.

Я люблю фиалки, но фиалки – редкость, лица все несчастливые.

В том вагоне были русские и нерусские, и восточные люди. Глаза нерусских людей поразили меня неожиданной бесхитростностью и усталостью, хотя веки их всегда тяжелы. Крайне бедно одетый восточный мальчик, столь рано повзрослевший и уже разочаровавшийся в наставниках, казалось, ехал один-одинешенек. Он вел себя самостоятельно и мудро. Первым из путешественников есть стал он. Его закуской был бережно припрятанный в некогда золотую ткань кукурузный початок.

Пусть странным покажется Вам, мудрый Стилист мое заключение, но именно этот восточный мальчик с кровавой корочкой на верхней губе, подвязанный цветастым женским платком, и был во всем вагоне самым близким мне человеком. Отдых от хаоса стал нашим связующим звеном.

Пустые узоры пейзажа, следующие мимо и вспять, ласкали нас безучастностью.

В мечтах наших не было игр.

Я бы хотел видеть его глаза в планетарии.

Точно так же как и я, он был противопоставлен.

Точно так же как и я, он был беглецом.

Бурная жестокость действительности, от которой он бежал, и вязкая жестокость действительности, от которой бежал Ваш покорный слуга, хотя и были разноликими, являлись одинаково неприемлемыми для наших песен.

Сказки наши, его – с луной и звездами и мои – с когтями и пургой, были ночными сказками.

Вот только я не знаю, как просить милостыню, и неподвижен телом.

Он же за время путешествия постоянно перекачивался по вагону, поблескивая, точно капелька ртути.

Оба мы по-настоящему не умеем плакать.

Этот мальчик, уверяю Вас, никогда не будет бросать камни в проходящие мимо поезда.

Поверьте, это очень важно, чтобы мальчики в детстве не бросали камни в проходящие мимо поезда.

Хранитель поезда не спал.

Хранитель был болен после похмелья.

Хранителя просто узнать. Это – уверенный человек. Человек, который знает, что поезд не сойдет с рельсов и птица не залетит в тамбур.

Хранитель всегда погружен во Вселенскую тишину.

Ему не приходится искать пьющих малознакомых или же вовсе незнакомых людей и заговаривать с ними, и рассказывать будущее, и выдумывать имена и даты.

Он лишен суеты.

Его найдут, когда это потребуется, потребуется ему.

Горе поезду, следующему без Хранителя.

Наш Хранитель был небрит, коренаст и влажен. У него были васильковые глаза и медное кольцо на указательном пальце левой руки.

Довольно скоро он сумел оценить всех пассажиров вагона и, не дожидаясь моих шагов навстречу, сам установил контакт таким образом, что смог, пусть и с паузами, беседовать с Наблюдателем, поясняя особенности путешествия и расставляя акценты.

Сперва похмелье его мешало беседе отсутствием достаточной сосредоточенности. Это продолжалось несколько минут, что-то около десяти, мне было трудно ориентироваться ввиду *особого состояния*.

Наконец, необходимые заискивающие люди оказались близ моего героя.

Они принялись нашептывать ему что-то на ухо.

К моему искреннему удивлению, один из них оказался человеконенавистником.

Они принесли спиртное. Водку или самогон.

Хранитель выпил, затем еще, потом они исчезли.

Я не видел их больше до самого конца следования.

Пил Хранитель маленькими глотками спокойно и величаво, словно это был горячий купеческий чай.

Проводив визитеров, удобно скрестив ноги, в облегчении, он пригласил к окнам хвойный лес, разом покончив с немытой обувью спутников и торчащими углами чемоданов.

Кукурузный початок восточного мальчика осветил его лицо.

– Обратите внимание на Мышь за моей спиной.

«Обратите внимание на Мышь за спиной» – первая после преобразования фраза была адресована им Наблюдателю.

Я явственно услышал высокий голос Хранителя и увидел Мышь. Это была тучная белая Мышь с лакированной белой сумочкой в сухих лапках. Даже возникновение хвойного леса не заинтересовало ее. Пусть голова ее и была обращена к лесу, рубиновые глазки искоса пожирали кукурузу мальчика.

В дальнейшем, мудрый Стилист, я поведу повествование в двух лицах. Вы узнаете и голос Хранителя, и мой голос.

Без диалога Вы не почувствуете значимость происходившего в полном объеме, а мне это очень важно.

ХРАНИТЕЛЬ Она из простых мышей. Без хорошей родословной, подарков к Рождеству, с наказаниями и захлавленной крохотной норкой, рассчитанной на среднюю мышиную семью, где, вроде бы и места на всех хватает, но и повернуться тесно.

В таких жилищах ненависть не острая, а ленивая и скучная.

Этот экземпляр, стало быть, может в какой то степени вызвать сочувствие, если подобное понятие вообще применимо к мышам.

Мыши вышеописанного происхождения становятся со временем рациональными, прожорливыми и недоверчивыми. Они крайне осторожны, изобретательны и жизнеспособны.

Власть сама выискивает таких мышей, заражает их, заполняет все их естество и... не ведет к скорому падению, а, напротив, способствует долголетию. Руководят такие мыши умело, и, потому, угодны тем, кто занимает еще более высокое положение. Это порода так называемых «полезных» мышей.

И только две особенности, подчас, подводят их жадность и нечистоты внутри.

Супругов себе они выбирают по признаку их слабости. Потому не бывают счастливы в семье, не любят своих хилых или откормленных детей, рано упускают их из вида и вспоминают только когда уже поздно и опасность близка.

Жадность не позволяет им делать широких жестов, даже когда это необходимо, давать своевременных взяток, не смотря на существенные сбережения. В этом – изъян.

Вот и наша Мышь следует на суд.

Она поскупилась, недодала, или вовсе не дала.

На что-то еще надеется, но догадывается, дельце проиграно.

Мысли ее снуют вокруг потерянного авторитета, и около, пусть не до безрассудства, но потраченных таки денег.

Она ропщет на судьбу, ненавидит окружающих, и все, что с ними связано, однако не может оторвать взгляда от кукурузного початка восточного мальчика. Впрочем, этот интерес спасает ее от торжества мрачных размышлений.

– А хорошо было бы – думает она – наказать этого мальчика, ссадив с поезда на одной из станций, или что-нибудь в этом роде.

Нет, сейчас она не опасна. Ее подвижность временно утрачена.

Сейчас ее можно даже препарировать.

Да она и сама готова к этому.

Я ЖЕ Однако я боюсь за мальчика. Мышь остается мышью даже в такой ситуации, тем паче мы видим, как она нервничает.

Я допускаю, что она слышит голос Хранителя так же отчетливо, как и я сам.

Беседа может раздражить ее.

Тотчас нахожу подтверждение своим опасениям.

Мышь, поерзав и проглотив слюну, несколько раз с тревогой взглянула в мою сторону.

На людей, подобных мне обыкновенно смотрят с любопытством или безразличием.

Здесь же – тревога.

Как бы мне не оказаться правым?

Что знал я о мышах? Практически ничего.

Неизвестность пугает всегда и, думаю, всех, что бы там не говорили. Но, знай я и больше, разве смог бы защитить?

Я не покинут Богом, нет. Напротив, мне даровано особое восприятие через слух, зрение.

Я знаком с многообразием и изощренностью сил зла, но я знаю и то, что противостоять этим силам можно лишь слабостью, ибо слабость, как воздух животворный, расступаясь, сталкивает зло со злом и губит зло. Я знаю это.

Но судьбы конкретных людей?

Подойти к мальчику и шепнуть на ухо – Спрячься.

Это – само по себе зло, заставляя людей прятаться, учить их этому. Ведь, насколько я понимаю, прятаться должны мыши?

Или так было прежде?

Что скажете, Стилист, я помню, что говорю теперь с Вами?

ХРАНИТЕЛЬ Мышь не интересна. Не настолько интересна. По крайней мере, на некоторое время. Можно было бы и нынче устроить забавное представление, но, покуда, это преждевременно. Дорога дальняя. Настанет час, когда сделается вовсе скучно.

И еще.

Необходимо окончательно определиться с расстановкой сил в вагоне.

Однозначно, Мышь не столь интересна сейчас.

В большей степени меня занимает Господин Учитель.

Да, да, тот самый сизобородый пожилой господин в очках у самого тамбура, что без остановки читает книгу.

И безнадежному фантазеру трудно представить себе тот путь чистосердечной надежды, что прошел он от иллюзий до полной глупости.

Господин Учитель даже оглох от пустых побед в области разумного, доброго, вечного. На этом пути он потерял и разум, и масштабы, да и добрым его теперь уже трудно назвать, так как он не совершает поступков.

Ни больших, не малых.

Он даже перестал чистить зубы и кормить бродячих собак.

В правом нагрудном кармане его тяжелого пиджака лежит выцветшая фотография. На этой фотографии Господин Учитель сорок лет назад, в шелковой рубашке, опирается на тяжелый велосипед и ослепительно улыбается.

В правом нагрудном кармане этой шелковой рубашки Господина Учителя, что на сорок лет моложе, когда он ослепительно улыбается, опираясь на тяжелый, по нынешним временам, велосипед, тоже лежит фотография.

На той фотографии, в свою очередь, молодая женщина с милым подбородком и волевым взглядом не менее ослепительно улыбается неизвестному фотографу, по моим предположениям, самому Господину Учителю.

Суть – песочные часы.

Этот знак бесконечности, поставленный «на попа».

Ясно вам?

Теперь Господин Учитель занят особого рода бездеятельностью, что я называю «формальным чтением».

Термин сей означает, что человек читает, и ему нравится как выстраиваются предложения, вспоминает давно вышедшие из его лексикона слова, расшифровывает их значение, наподобие головоломок, допускает, что в книге присутствует сюжетная линия, но напрочь опускает сам процесс.

Это – как борьба за уже отвоеванную глухоту с навязчивой памятью.

Глухота – дар обессилевшему.

Присутствие внешних звуков может вызвать звуки изнутри, куда более тревожные.

Скажем, щелчок фотоаппарата.

Не знает теперь Господин Учитель, что за фотография лежала в правом нагрудном кармане его шелковой рубашки сорок лет назад.

Песочные часы.

На самом деле он неплохой человек.

Хороший человек этот Господин Учитель.

Он долго-долго преподавал литературу.

А лучшей ученицей в одном из его классов была... наша Мышь.

Оба они так изменились с тех пор, что, без посторонней помощи, ни за что не узнают друг друга.

Песочные часы.

Я ЖЕ Египет?

Невольно люблюсь книгой Господина Учителя.

Старинная книга с иллюстрациями.

Уж не библейские ли это сюжеты?

Страницы переложены папиросной бумагой.

Учитель не читает книгу. Он и не может читать ее сейчас. Мысли его заняты совсем другим.

Только теперь Учитель начинает осознавать, что ангелы отнесли его память к реке и вновь сделали ребенком.

А как они выглядят, эти ангелы?

Мальчик Минька, сосед по даче, которого Учитель знакомил с буквами, напустил однажды летом полную веранду стрекоз. Старик вошел, испугался живого облака, отворил двери, окна и... потерял память.

Не целиком, но в подробностях.

Не те ли стрекозы – ангелы?

На рисунках в книге они совсем другие.

Крохотные, не то, что громовики.

У них не такие большие, как у громовиков, глаза и, наконец, они вовсе не улыбаются.

С ангелами, что нарисованы, Учителю спокойнее.

Никак не может Учитель восстановить годы и события.

Он не мучается этим, нет, это другое, игра. И в игре этой так много покоя и терпения, что сравнить ее можно только с составлением гербария.

Гербарий.

Между шестой и седьмой страницей узорный листочек вины, между двенадцатой и тринадцатой – длинный листочек послушания, между двадцатой и двадцать первой – иголочка наказания, между двадцать седьмой и двадцать восьмой – лепесток бессонницы, между тридцать второй и тридцать третьей – стебелек болезни и откуда-то, вдруг, мышинный хвостик.

Фу, какая гадость!

Книга захлопывается, дабы никто не увидел.

В глазах Учителя растерянность.

Как мог мышинный хвост попасть в гербарий?

Книга захлопывается и ангелы там, внутри, целуются.

Поезд следует по расписанию.

ХРАНИТЕЛЬ Поезд следует по расписанию. Нынче ехать приятно. Не стало комаров. Вот только зябко.

Теперь бы чаю.

До Происшествия непременно надобно напиться чаю.

Когда-то чай в поездах разносили.

Теперь он был бы кстати.

Я ЖЕ И русские люди, и сама Россия опутаны провидением.

Оттого, что имеют душу слепого, осязают себя и других чувственно и чудно.

Столь сомкнуты судьбы мелочами и случайностями, что невозможно прожить жизнь, не причинив боли.

И мысли, а мысли зачастую грешны, и чаяния все сбываются, ибо услышанными бывают.

Да и как не быть им услышанными, когда всякие звуки и всякая тайна сливаются в единую просьбу?

Это одному человеку кажется, что молит только он, а мольба его, самая тихая и сокровенная, повторяется многократно и усиливается до нестерпимого крика.

Люди не задумываются над этим, не знают этого, но чувствуют это непременно, при том с самого раннего детства.

И часто страшатся просить.

И часто страшатся совершать поступки себе ли во благо, близким ли во благо, оттого, что, как знать, благом ли этот поступок обернется, пристойна ли эта просьба?

И устают от этих внутренних терзаний, и все же совершают поступки. Но вовсе не те, а совсем иные, и причиняют еще большее горе, и за то терзают себя еще больше, и желают забыться хотя бы на время, спрятаться от себя и движений своей души, и... пьют водку.

И будут пить ее в России и слабые, и сильные еще много лет.

Будто бы вижу теперь Ваше лицо, Стилист.

Вот уж, явственно вижу.

Вижу, как Вы соглашаетесь со мной.

А как же иначе?

Нужно же Вам оправдание?

Всякому человеку оно надобно.

Простите, простите меня великодушно.

Это я еще не читал прочих Ваших рассказов.
Верите Вы мне?
Нет, не верите.
Однако продолжим.

Вот и Хранитель пьет.
Он знает, что в вагоне этом все – родные, за исключением меня.
Но я – особенный человек, потому и позволяет он себе беседовать с Наблюдателем.
Он любит всех здесь.
О, как трудно ему подмечать несчастья спутников наших и знать, что через некоторое время случится Происшествие!
В этом Происшествии будет и его вина.
И так каждый раз.
Трудно и зябко ему.
И хочется чая.

ХРАНИТЕЛЬ Вот, извольте видеть – Гусь.
Шея длинная, редкие волосы.
Гладко выбритое лицо.
Бухгалтерский отчет.
Сладострастие без надежды.
Любопытство сверх всякой меры.
Страсть к сплетням.
Страх перед собеседником.
Одно время мучился проблемой, как закричать «помогите», если случится с ним разбой на улице, даже репетировал дома, когда оставался один.
Бросил эту затею, потому что неизвестно, не будет ли он бит после этого крика еще больше.
В термосе горячий чай. Он бы и рад предложить мне его, да стеснителен, крайне стеснителен.
Вырос Гусь в одном дворе с Валетом. Боялся его так, что даже не выходил на улицу, когда там оказывался Валет.
Сейчас Валет в этом же вагоне, но располагается спиной к Гусю, и они не видят друг друга.
Валет спит.
Во сне он видит карты. Он всегда видит карты во сне, потому и Валет.
В карты он играет плохо.
Только дерется хорошо.
И ворует тоже плохо, попадаетеся.
Сидел дважды, по глупости.
Он все делает плохо, только дерется хорошо.
Но лежащего не бьет.
И слабых защищал, и за мальчика этого восточного вступится, случись что.
И влюбляется в каждую новую женщину.
И в Вика влюблялся, но она с ним баловалась.
Вика – это та темноволосая кроха, что минуту назад вышла покурить в тамбур.
Она – соседка Мыши по квартире и однажды умудрилась пролить на нее горячий бульон.
Вика ищет себе подходящую партию.
Что-нибудь наподобие Гуся, человека «положительного».

Между прочим, могла бы стать хорошей женой.

Заканчивала школу, где преподавал Господин Учитель.

Будь Господин Учитель помоложе, он, быть может, приударил бы за Викой. Женщина в его вкусе.

И с характером, что немаловажно. Из-за характера и происходят ссоры между Викторией и Валетом.

Валет Учителя видел много раз, но лично они не знакомы. Заочно Валет испытывает к Учителю глубокое уважение.

Вот такой расклад.

Все. Все мы обречены в этом поезде.

Чаю бы горячего.

Водки не хочется, в сон клонит.

Уже скучно.

Совсем скучно.

Поезд следует по расписанию.

Пойду, однако, и я покурю в тамбур...

Вот с этого самого «пойду, однако, и я покурю в тамбур» все и началось.

Вы будете осуждать меня, мудрый Стилист, как и сам я осуждаю себя теперь. Но, уже наказан.

Видит Бог, наказан.

Теперь могу рассказать Вам все.

Хранитель не возвращался. Прошло много времени. Давно заняла свое место легкомысленная Вика, и надежды мои на то, что они разговорились между собой и выкурили еще по сигаретке, рассеялись.

Я выглянул в тамбур и не обнаружил там никого.

Хранитель исчез.

Начал пробуждаться мой Мучитель.

Теперь будьте внимательны, Стилист, ибо то, что я расскажу Вам, есть ничто иное, как репетиция страстей.

Если Вас, конечно, занимает эта тема.

Как писателя.

Как великого писателя.

Как Стилиста.

В вагоне появились восточные люди и начали на чужом языке объяснять что-то мальчику.

Кто-то из них выдал бедняжке увесистый подзатыльник.

Затем все как будто успокоилось, только за окном на смену хвойному лесу явился бесконечный пустырь, со множеством чадающих холмов хлама и вороньем.

Из этого я сделал заключение, что Хранитель не вернется.

Проснулся Валет. Стал озираться.

Гусь, будто почувствовав это, сложил шею и крепче прижал к себе портфель. Слава Богу, они не увидели друг друга.

Мышь зевнула и в упор стала разглядывать Господина Учителя. Вы можете не поверить мне, мудрый Стилист, но это был самый настоящий гипноз.

Учитель поднял глаза и тоже принялся смотреть на Мышь.

С того момента я не подвергал ни на минуту сомнению тот факт, что Происшествие, о котором знал Хранитель, приближается.

Восточный мальчик вскочил с места и побежал в дальний конец вагона. Зачем?

Он уселся там, у окна и принялся внимательно изучать пустырь.

Зачем?

А все могло быть иначе, если бы не нерешительность Гуся.

Так ли уж трудно было предложить Хранителю чая?

Ах, как мы стесняемся всегда собственной вежливости, и собственного же радушия!

Теперь вся система, состоящая из этих людей, пришла в движение, и движение стало приобретать непредсказуемый характер.

Вика подошла к Валету, села напротив и принялась что-то говорить. Что?

Вновь ощущение ваты сковало меня.

Вика смеялась, а Валет не смеялся.

Вата в голове.

Как заклинание крутилось «поезд следует по расписанию».

Вика достала из сумочки карты, еще не хватало, и положила их на колени Валету.

Его глаза налились кровью.

Гусь за чем-то полез под скамейку. Что-то обронил?

Поезд следует по расписанию.

Я знал, все происходящее имело смысл, логику, но я не мог понять этой логики, так как *Мучитель начал вытаскивать из меня, прутик за прутиком, каркас.*

Господин Учитель обронил книгу, и от этого звука воронье за окном разом поднялось в небо.

Каркас был окончательно разрушен.

Мысли получили вольную, и следующие картины предстали передо мной;

Идет суд и Мышь рыдает.

Валет склонился над бездыханным телом Вики.

Молодой Господин Учитель падает с велосипеда.

Гусь, потрясая руками, преследует восточного мальчика.

Другой мальчик, поселковый, подбирает камень покрупнее, чтобы запустить его в проходящий поезд.

Наблюдатель улыбнулся и исчез. Оставалось не более нескольких секунд до того, как камень полетит по назначению.

Все, буквально все опутаны провидением.

Я должен был сделать то, что сделал.

Во всяком случае, я был уверен в этом тогда.

Вы, конечно, догадываетесь, Мудрый Стилист, о чем я.

Ваш покорный слуга выбежал в тамбур и сорвал стоп-кран!

Ваш покорный слуга выбежал в тамбур и сорвал стоп-кран!

Ваш покорный слуга выбежал в тамбур и сорвал стоп-кран!

Последнее, что я видел, это как Господин Учитель упал на Мышь и невольно поцеловал ей руку. Вернулась ли к нему память в ту минуту?

Вика была спасена.

Все были спасены.

Мною.

Так ли это, мудрый Стилист?

Так ли это?

Так ли это?
Так ли это?
Так ли это?
Так ли это?
Так ли это?
Так ли это?
Так ли это?
Так ли это?
Стоп!
Я разбил колени.

Только Вам, мудрый Стилист доверил я эту историю. Я не смогу поведать ее даже доктору, хотя он – благороднейший человек. Я допускаю, он догадается о том, что произошло, но не подаст вида.

Оставьте и Вы мою тайну при себе, ибо ее огласка может положить начало новому движению с непредсказуемыми последствиями, а я не дам гарантий, что Вы не знакомы с Хранителем.

Помните, кто спасает Вас, когда оказываетесь спасенными.

Я разбил все.

Виталий Д.

Письмо восьмое

Теперь все переменялось. Вы пьете свою водку, а мне плохо. Каждое утро плохо. Милый Стилист, пощадите себя и меня!

Из чего, думаете Вы, складывается неприязнь?

Не далее чем вчера я наблюдал сцену неприязни, особенно поразившую меня, и не дававшую покоя даже ночью.

Сумасбродная пожилая женщина, решившая посидеть на лавочке в аллее, пользуясь последними солнечными днями, рассматривала прохожих.

Ничего особенного не происходило.

Она не делала никому замечаний.

Она просто сидела на лавочке и смотрела на людей.

Быть может, она привлекла мое внимание совсем чуждым ее возрасту ядовито зеленым пальто, а может быть непривычно крупным лицом.

Одним словом, что-то в ее внешности привлекло мое внимание и принудило сначала замедлить шаг, а затем вовсе остановиться.

О, милый Стилист, это был взгляд!

Вероятнее всего в этот момент Вы открыли еще одну, новую бутылку водки и услышали ее аромат!

Первоначально я подумал, что мы уже встречались когда-то с этой женщиной, и я при этой встрече сделал что-то нехорошее, гадкое, или, представилось мне, я мог быть в компании с ее сыном или дочерью в Палатах, а родители многих из путников считают каждого из нас, мягко говоря, неблагонадежными, или что-нибудь еще в этом роде.

Воспользовавшись тем, что она отвела взгляд, я прошел некоторое расстояние с тем, чтобы оказаться вне поля зрения этой женщины и присел на скамейку поодаль.

Мне понадобилось сосредоточиться.

Вот видите, каков был этот взгляд.

Трудно передать словами то паучье неприятное состояние, что разместилось, казалось, в каждом уголке моего существа.

Нет, я не мог вспомнить ничего, что могло бы хоть как-то связывать нас. И главным аргументом в пользу моих раздумий послужил тот факт, что лицо ее было очень и очень запоминающимся. Встретив однажды, я не забыл бы его до конца дней.

Мало-помалу успокоившись на свой счет, я сам стал наблюдать за ней.

Я обратил внимание на то, что каждого из прохожих эта женщина одаривала таким же, или подобным этому взглядом.

Хотя, не совсем.

Взгляды разнились.

Каждый из них имел свой оттенок, свою ауру.

Несмотря на то, что взгляд ее был как бы остекленевшим, неподвижным, по причине сокращения зрачка, или потому, что она как-то особенно щурилась, складывалось впечатление, что менялся цвет ее глаз.

Мне трудно было разобрать из-за отдаленности объекта.

Общим оставалось одно – неприязнь.

То, что неприязнь была единой на всех, окончательно успокоило меня, и, на время, потеряв интерес к странной этой персоне, я предался размышлениям.

После того, как проходит какого-либо рода возбуждение, когда исчезает сам раздражитель, всегда остается след, уже не саднящий, но фактом своего существования, подталкивающий человека ко всевозможным реминисценциям, философствованию и так дальше.

Каким прискорбным фактом окажется тот, что Ваша ленинградка как две капли воды похожа на ту старушенцию?

Прошу Вас, не пейте так много!

Простите за неприязнь.

Это временное.

Письмо не будет отправлено за ненадобностью.

Ни мне, не Вам.

Ваш мучимый Вами брат.

Письмо девятое

Любезный сердцу моему Стилист!

Все, что я рассказывал Вам, не имеет никакого значения.

Теперь, когда я, наконец, окончательно излечился, все прежде изложенное мною в письмах потеряло весь и всяческий смысл.

Как же вы были правы, когда откладывали мои письма в стопку, нечитанными.

Все прежде изложенное мною – суета сует, и больше ничего!

После того, что сделали Вы с собой, а, точнее, я с Вами.

Но, прежде всего, Вас, наверняка интересует, как я умудрился в столь короткий срок, так и не добравшись до Палат излечиться?

Вопрос этот требует разрешения, во что бы то ни стало, иначе Вам совсем нечего будет доложить Вашей, а в далеком прошлом и моей маменьке.

Ответ очень прост. Доктора никогда не были нужны мне.

Вот, если бы Ваш покорный слуга не сорвал стоп-кран и добрался бы таки до Палат. Все оставалось бы без перемен.

И я не смог бы помочь вам. А Вы так нуждаетесь в помощи.

И не рассчитывайте, что ваше счастье со старушкой продлится долго. Вам еще придется хоронить ее, А Вы, я знаю Вашу врожденную чувствительность, не перенесете этого.

А жизнь, увы, ставит перед фактом.

Вот почему Вам нужна моя помощь (наконец-то!), и я это почувствовал, и, вместе с тем, наверное, впервые почувствовал по-настоящему.

Видите, как гладко, связно и последовательно я излагаю свои мысли.

Вам это ничего не стоит, а для меня, еще недавно, представлялось большой проблемой.

Итак, как получилось, что я сделался окончательно здоровым человеком?

Вот видите, я отлично помню, с чего начал.

Первое, на чем меня всегда ловили доктора, так это на том, что начинал я говорить об одном, а затем, совершив головокружительный кульбит, оказывался совершенно в другом месте, где-нибудь в Египте, например.

Но это, как я теперь понимаю, было от расстройств и вынужденного безделья, от вынужденного безделья и расстройств, от расстройств и вынужденного безделья, от вынужденного безделья и расстройств, от расстройств и вынужденного безделья, от вынужденного безделья и расстройств, от расстройств и вынужденного безделья, от вынужденного безделья и расстройств.

Теперь же все по другому.

Теперь я научился чувствовать свою логику. Хотя это очень и очень трудно. Так много первостепенного окружает меня!

Да если бы Вы только знали, насколько очевиден и предсказуем мир, окружающий нас, с нами самими внутри.

Если бы вы знали это, разве не совестно было бы Вам придти к такому вот отчаянию и потерять ребенка, сдавшись еще более предсказуемой особе, и, будучи несравненным Стилистом, сдать ее ей, вот так, без боя, хотя старушка – прелесть, и то, что она из Петербурга, теперь надобно говорить так, так всегда нужно было говорить, потому что, если бы Вы знали Петра Алексеевича, так как знаю его я, Вам бы и в голову не пришло обращать внимание на какого-то там жирафа, что, впрочем, еще раз доказывает полное и бесповоротное мое излечение, о чем я доложу Вам позже.

А Вы, в теперешнем Вашем положении, смогли бы Вы вот так же сорвать стоп-кран, не задумываясь ни на минуту о том, что колено, может быть, и будет разбито?

И как далеки от этого и Бальмонт и Египет?

Однако падучей нет, и не будет.

Падучая, к сожалению, не для меня.

А у Вас, случаем, не было припадков? Я слышал, что у алкоголиков они иногда возникают. Как было бы хорошо, если бы Вас хоть раз тряхануло?

Но прежде, чем я помогу Вам, я должен, я должен подробнейшим образом все-все узнать о Вас, с изложением дат, часов, минут, секунд, имен, фамилий, адресов, кличек домашних животных, вплоть до наименований насекомых, что пьют Вашу кровь.

Это будет отчет о Вашем поколении, к которому я так хотел бы принадлежать, и, в силу возраста, мог бы принадлежать, но, если вы помните Захара Иосифовича, и всю эту эпопею с Женечкой Хрустальным, могу ли я принадлежать к какому-нибудь поколению, когда сумел справиться с тяжелой болезнью, в Писании именуемой «Страсти», самостоятельно?

Колено болит.

Но каким образом я могу это сделать?

Конечно, я могу закрыть глаза и мысленно представить себе как мы с Вами, маленькие, на даче, стоим около озера лопухов, забрасываем удочки, на самом деле представляющие собой обыкновенные ивовые прутья и таким образом ловим рыбу.

И искренне верим в то, что рыба вот так именно и ловится. И совсем не нужно убивать червяков. Хотя все в них, начиная с названия противно. Впрочем, мы никогда не рассматривали их через увеличительное стекло. Как знать, быть может, у них осмысленный взгляд, еще более осмысленный, чем наш, и, быть может, не было бы их, не было бы и этой роскошной зелени вокруг, которая меняет свои оттенки не каждые полчаса, а каждую минуту, каждую секунду, только мы не успеваем этого замечать, потому что заняты тем, что пытаемся поймать рыбу в лопухах.

И я почувствовал, что совершенно здоров.

Как будто вся моя душевная боль сосредоточилась теперь в колене, а так, значительно проще переносить боль, когда она в колене, а не разлита по всему организму, что напоминает мне подготовку к запуску космического корабля с Байконура, где я проведу остаток жизни, в качестве независимого наблюдателя.

После того как спасу Вас.

Только после того, как спасу Вас.

Разумеется, только после того, как спасу Вас.

Итак, что мы имеем?

Мы имеем частичное отсутствие информации.

Когда я спасал мир, я располагал всей информацией, и мне удалось сделать это без труда.

Ваш случай будет посложнее.

Я часто ловил себя на мысли, что мир отдельного человека намного сложнее, чем мир в целом, потому что его мир включает в себя значительно больше, чем все эти пейзажи или отсутствие оных, вместе с баталиями, запуском, повторюсь, космических кораблей, отом, отелом и прочей борьбой за существование, именуемой тщетой, включая политическую борьбу.

Колено болит и распухает.

Колено – это Вам не синяк.

Красоты в разбитом колене никакой.

Синяк всегда венчает глаз. А глаз – это, как ни как, окно в мир. При том, чаще всего, осмысленное окно.

А может быть, у Вас и не было никогда никаких детей?

Нет, были, вот он, Ваш журнал, который я хотел уничтожить. Не уничтожил и, посредством «Прозрачных дней», вышел на то, что вы-то, как раз и есть сумасшедший, а я – нет.

Вот вам и мое выздоровление.

И как только я закончил чтение, у меня смертельно заболело колено.

Не расстраивайтесь, быть сумасшедшим совсем неплохо, мало того, это здорово. Можно совершать разные путешествия. А главное – сострадать. Слышать боль и сострадать. Разве это не счастье? Может быть, в отличие от меня, Вам удастся заплакать?

Вся беда моя в том, что я не умею по-настоящему плакать. А значит, не умею оплакивать. А оплакивание – лучшее из лучших средство.

А у Вас получится.

Прерываюсь, *меня приглашают на процедуры.*

Можете себе представить, теперь большой войны уже не будет никогда. А помните, как нас пугали ею в детстве?

Все.

Ушел.

Итак.

Окончить жизнь самоубийством можно тысячами способов.

Одним из наиболее привлекательных, на мой взгляд, является следующий. Руки опускаются в таз с горячей водой, и содержатся в нем до тех пор, пока не остынет вода, а вместе с нею и ваше тело.

Привлекательным этот способ мне кажется потому, что в нем есть некоторая изысканность. В нем присутствует какая-никакая игра ума.

Большинство же широко использовавшихся в практике Палат способов, как правило, не имеют ничего общего ни с искусством Стиля в целом, ни с Бальмонтом в частности.

Не думаю, чтобы вам было приятно, когда бы вы узнали, что Ваш брат, пусть и сумасшедший, но все же немного Ваш, был найден болтающимся в петле с вывалившимся языком.

Бр-р-р!

Даже «съеден в лесу заживо комарами» – и то получше. Все же есть в этом некая игрищность, согласитесь. По крайней мере, у кого-нибудь, да вызовет улыбку.

Но нет, все это грубо.

Все это не для нас с Вами.

Когда необходимость ухода из жизни стала очевидной.

Думаю, что уже достаточно дал Вам понять, что подобное предприятие, с последующим подробным изучением, как бы извне, всех обстоятельств Вашего падения, и внедрения в ситуацию с целью ее исправления – единственный способ спасти Вас.

Вы думаете, что я не знаю, какой это грех?

Вы думаете, что мне очень хочется совершить его, чтобы потом поджариваться на сковородке?

Кстати, я даже знаю, как она выглядит.

Ее модель есть у Аглаи.

Аглая знает, что это за модель и, практически, никогда не пользуется ею. Всем врет, что на этой сковородке блинчики подгорают.

Хитра, матушка.

Но Вы не тревожьтесь за меня, милый Стилист.

Из всякого положения есть выход.

Кстати. Зарубите это и у себя на носу.

Но об этом у нас вскоре будет возможность поговорить, ночи зимой длинные.

Кстати, под каким одеялом вы спите?

Я предпочитаю ватное, шитое лоскутами, в пододеяльнике.

Всю жизнь мечтаю о таком, но никак не удавалось заполучить.

Уж вы подготовьтесь к моему явлению.

Шучу.

После того. Как я избавился от болезни, у меня все время хорошее настроение.

Но, стал болтливым.

И это уже замечено.

Надо бы немного успокоиться.

До скорой встречи, любимый брат!

Не пейте малинового вина.

Оно отравлено.

Вот видите?

Опять шутка на язык напросилась.

Как, однако, весело готовить самоубийство!

Ваш будущий доктор.

Р. S. Надо бы, покуда еще не настал час, перечитать клятву Гиппократу. Подозреваю, что Вы то ее уже подзабыли?

Предвкушаю нашу встречу!

Наговоримся!!!

Спешу.

Меня приглашают на беседу.

Мною, как будто, недовольны.

Договорился.

Жму руку, и, одновременно, усаживаюсь в глубочайший книксен.

Ваш здоровый брат, на грани большого счастья.

Р. Р. S. Привет Вашей ленинградке. Просите ее не умирать до моего появления.

Письмо десятое

Поговорим о любви.

Любовь, вот что я, в ожидании встречи с тобой, при всевозможных приготовлениях перед тем, как мне *будет сообщено решение*, совершенно упустил из вида.

Любовь – вот чего не познал я в прожитом пространстве.

Я имею в виду не ту любовь, о которой слагают оды. Та любовь мне знакома. Я пресыщен ею. Мало того, иногда мне кажется, что сам я создан не из белка и желтка красного цвета, а из этой самой любви.

По этой причине мне и идет военная форма, особенно костюм железнодорожника. Самый лучший мой костюм!

Любовь, что не познал я – другая, плотская. Любовь, похожая на стыд и пытку одновременно.

Я узнал о ее существовании от одного глухонемого, что подсунул мне однажды на перроне удивительную коллекцию фотокарточек, на которых очень красивые актеры и актрисы изображали все это.

Как жаль, что я не актер – подумалось мне тогда.

Вот почему актеры так загадочны и притягательны – подумалось мне тогда – они знают то, чего я не знаю, умеют то, чего я не умею, и нисколько не стесняются при этом.

А могут вот так простые люди, не актеры? – подумалось мне тогда.

Оказывается, могут.

Меня очень скоро просветили на этот счет путники.

Им было весело просвещать меня на этот счет, им нравилось говорить на эту тему, они думали, что я валяю дурака.

А я, верите ли Вы мне, почтенный Стилист, и на самом деле не все знал. А, точнее, ничего не знал. И когда первый раз увидел фотографии, даже испугался. Сам не знаю, чего я испугался, но ощущение было такое, как будто я столкнулся с чем-то огромным, очень и очень важным, от чего можно сойти с ума, если на минутку, хотя бы на минутку представить себе, что ты – один из тех самых актеров.

Вскоре мне было запрещено думать об этом.

Но с этим, как выяснилось, не так то просто бороться.

Тогда я стал великим грешником.

Единственное, что утешало меня, так это мысль о том, что я – не один такой.

Мало того, казалось мне, есть грешники и похлеще моего. Те, что не просто рассматривают фотографии каждый день, и по несколько раз в день, преодолевая стыд и какое-то дивное волнение, но пытаются подражать актерам, наверняка играя плохо, причиняя себе и окружающим массу неудобств и вселяя в родных, у кого они есть, разумеется, ужас.

Так было.

Теперь, когда я уже в возрасте и развращен множеством знаний в этой области, когда многие мои рассуждения тех лет кажутся мне даже наивными, я, разумеется, по-другому смотрю на вещи. Но стоит мне вспомнить меня тогдашнего, волнение охватывает меня.

Как и теперь, когда я пишу эти строки.

Так и было.

Никто не верит мне.

Да я уже давно и не рассказываю никому об этом.

Да и нет никого вокруг.

И вот какая мысль пришла мне в голову.

Мне нужно полюбить кого-нибудь.

Не думайте обо мне дурно, дорогой Стилист. Но после того как я перейду в новое качество, Вы знаете, что я имею в виду, у меня уже не будет такой возможности.

Я должен пасть!

Знаю, что *не буду прощен никогда*, но что-то во мне требует этого неумолимо!

При этом самое отвратительное в замышленном мною предприятии заключается не в самом процессе, а в том, как я стану примерять к оболочке своей партнерши ту или иную персоналию.

И как я буду выглядеть при этом.

Что станет с моим дыханием?

Что станет с моим сердцем?

Что станет с моими глазами?

Что станет с моим ртом?

Как станут произвольно шевелиться мои губы?

Ибо все это – нехорошее, нехорошее.

Дурное.

Дурное.

Почему, не знаю.

Но с этим знанием, мне кажется, я родился.

Мы все, мне кажется, рождены с этим знанием.

Неужели Адам и Ева...

Простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите.

Я двинусь дальше.

Я, раненый мыслью заяц, двинусь дальше.

Зайцы – красивые и храбрые животные.

И стану рассказывать Вам все.

Письмо потом можно и сжечь, хотя, как видите, пишу я его на самом лучшем из оставшихся бланков.

Так мне будет легче.

Пункт примеривания персоналии к оболочке прошел неожиданно безболезненно для меня.

Точнее, его и не было.

Как только я принялся рассказывать Вам о своих переживаниях, персоналия возникла сама по себе.

Плохо.

Плохо.

Чудовищно плохо.

Но это она, Юлька!

Прости, Женечка Хрустальный.

Я – лучше бандитов, это очевидно, и я знаю дорогу к ее дому!

Мне даже показалось на какой-то момент, что она и есть одна из тех актрис, только, по какой-то непонятной и необъяснимой случайности, она оказалась за кадром.

Я же видел ее после бани.

Она выглядит точно так же как и те актрисы.

Ошибки быть не должно.

Но как я предложу ей то, что надобно предложить?

Откуда во мне возьмется столько смелости?

А нужна ли здесь смелость? Ведь, судя по рассказам путников, это – такая же обыденная вещь, как, предположим ужин.

Речь идет, естественно, о сытном ужине, быть может, с баночкой сайры и, может быть, даже и с вином.

Только бы не водка!

Водка смертельна для меня.

А может статься, обойдется и без спиртного?

Ах, когда было бы так!

Но как я предложу ей то, что надобно предложить?

Должен же быть какой-нибудь выход из глупой этой ситуации?

Вот – я уже нахожусь в падении.

Человек, который еще недавно сорвал стоп-кран, и самостоятельно победил болезнь, думает о такой ерунде.

Но почему это не кажется мне ерундой?

Говорю «ерунда», произношу вслух «ерунда», записываю «ерунда», а по ощущениям – совсем не «ерунда», и даже наоборот.

Ну и пускай себе засмеется.

Что, разве никто не смеялся надо мной?

Да и она тысячу раз смеялась!

Главное, что после этого унижения я заполучу любовь!

Падение.

Почему меня не останавливают?

Вот уже и ночь.

Намерен уснуть без таблеток.

Завтра, в крайнем случае, послезавтра мне *будет сообщено решение*.

И не спрашивайте.

Не хочу говорить.

А мне и не нужно будет говорить ей ничего!

Времени – двенадцать часов, сорок семь минут, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать секунд.

Не нужно будет ничего говорить!

Какая ясность в голове?!

Никогда еще не было такой ясности в голове.

Вот уж, не повезло Вам, уважаемый Стилист с собеседником. Шизофреники, как правило, народ тихий, смирный. Сидят себе, преимущественно, дома. И письма у них спокойные, философские, без походов.

А мне, вот, не сидится.

Беспокойный я человек!

Беспокойный, а теперь еще и падший.

Еще одна трагедия для горячо любимой мною Вашей матушки.

Еще один падший человек.

Вы и я, оба – падшие.

Еще ничего не случилось, а я уже чувствую, как семимильными шагами приближаюсь к Вам.

Ничего удивительного, когда-то в детстве мы были братьями!

Быть падшим – совсем не плохо. Главное – не вспоминать о том, каким ты был до падения!

Я уже одет.

Какая метаморфоза!

Я уже оделся, причесался, и с волнением сообщаю Вам об этом.

Какие метаморфозы!

Я только что смотрелся в зеркало и не узнал себя.

В костюме железнодорожника, в нем же я и Вам явлюсь, долгожданный Стилист, почему бы доктору не быть в костюме железнодорожника (?), не в халатах же они ходят на вызов (?), как видите, я помню о главном, в костюме железнодорожника я неотразим!

Именно в эту пору суток.

Я же видел себя в этом костюме только днем.

Днем красота блекнет.

Мне легко.

И знаете почему?

Черта с два встал бы я с постели, так бы и прокрутился до утра.

Я был отпущен.

Правда, при этом прозвучало «на все четыре стороны», но беззлобно как то.

Как-то покойно.

Как будто, то, что должно случиться, и должно было случиться.

Как будто, другого развития событий и не предполагалось.

Какая ясность в голове!

Всего лишь новый костюм. А какая метаморфоза?!

Отчего бы и не поговорить о метаморфозах?

Нечего спешить.

Надобно успокоиться.

Ничего страшного не происходит.

Метаморфозы, мудрый Стилист – неотъемлемая и едва ли не главная составляющая нашего существа.

Я прочел это в Ваших новеллах, где я мог притронуться к ним, почувствовать их биение.

Ах, как объемны и живы они у Вас!

Полагаю, что Вы не менее моего приблизились к природе, и именно природа выучила Вас такой восприимчивости.

Разве то, что крутится у меня теперь в голове и не дает мне покоя – не природа?

Разве состояние Ваше, когда вы любуетесь жирафом или мертвецки пьяным лежите на земле, а потом приходите в себя, открываете глаза и видите небо – не природа?

Вот я – в костюме.

Что такое со мной?

Метаморфоза.

А что же это такое?

В чем сила превращений?

Отчего так волнуемся мы, наблюдая их во сне или наяву?

Суть, как мне кажется, в нашей греховности.

И волнение это возрастает с годами, то есть в соответствии с накоплением опыта, читай «с накоплением грехов», ответственность за которые в той или иной степени чувствует каждый, даже, по мнению окружающих, самый, что ни на есть, безнадёжный человек.

Страх перед неминуемым наказанием заставляет нас обращать внимание на то, что, к примеру, на смену холодной, кажущейся нескончаемой, зиме приходит теплая весна, а после изматывающего, душного лета непременно наступает прохладная, полная философий и воспоминаний, осень.

Вот, кажется нам, даже в природе боль сменяется облегчением, так и в нашей жизни изощренность расплаты заменят чистота, духовность.

Мы вернемся в легкое детское состояние беззаботности и сможем вновь совершать сладкие свои грехи.

Ритмический рисунок метаморфоз для каждого свой.

Здесь, представляется мне, все зависит от темперамента наблюдателя.

Притом темп прямо противоположен темпераменту.

У человека флегматичного, более склонного к созерцанию, превращения следуют одно за другим.

Напротив, для человека с ускоренным мышлением, зачастую рассеянного и невнимательного, метаморфозы редким своим явлением могут вызвать ощущение полной неожиданности, чуда.

Это – не истина, это – скорее тенденции, которые мне теперь очевидны.

В тот момент, когда та или иная метаморфоза вытесняет другие впечатления человека на второй план и занимает главенствующее положение, она совершает определенную работу, способную изменить даже внешность наблюдающего. Мне думается, что во многом под воздействием превращений у людей появляются седые волосы, морщины, меняется цвет лица, наклонности и так дальше.

Разительно переменившийся объект инородного вмешательства в свою очередь оказывает влияние на окружающих, вспомните близких знакомых, не видевших друг – друга добрый десяток лет. Каждая подобная встреча – этап в бесконечном процессе взаимных превращений, именуемых Вами эволюцией.

Вот почему питомцы и их хозяева так схожи между собой.

Вот почему встречаются люди, напоминающие рыб, орлов и т. д.

Метаморфозы величественны.

Погибни все живое, они останутся, и будет продолжаться их движение в ожидании нового наблюдающего.

С раннего детства метаморфозы сопровождают нас, предпринимая новые и новые попытки обратить на себя внимание.

Вспомните – Не пей водицы, козленочком станешь.

Вспомните что угодно из серьезных произведений, вспомните «Аленький цветочек», «Маленького Мука».

Метаморфозы пронизывают большую часть сказок и являются той школой, по окончании которой мы уже воспринимаем их как данность.

Многие из нас остаются глухими к предупреждениям и пророчествам метаморфоз до самой старости, и тогда только, у зеркала, когда метаморфозы кричат о грядущей смерти, обращаются к своему детству и вспоминают все, но уже ничего не могут переменить в себе – жизнь позади.

Есть только ослепительно красивый мужчина в костюме железнодорожника.

Знали бы Вы, досточтимый Стилист, как я нелеп в нем.

Вот теперь я сниму его и лягу в постель.

Спокойной ночи.

Спокойной ночи.

Спокойной ночи.

Как я мог променять все это, все эти свои умозаключения...

Завтра будет очень трудный день.

Вот, кажется, глаза таки закрываются.

Спокойной ночи.

Назад пути нет.

Прощайте!

Прощайте навсегда!

Ухожу на войну!

Надо бы переживать, а я радостно волнуюсь!

Если бы все железнодорожники волновались, поезда не следовали бы по расписанию.

Интересно, а падал ли в своих мыслях Женечка Хрустальный?

Нет, думаю, что нет!

А. Может быть, это и сгубило его?

Надобно будет подумать над этим, если вернусь.

Если вернусь тем же.

Но, так не бывает!

За все нужно платить!

Готов платить!

В путешествии этом главное – не отвлекаться.

Буду прокручивать в голове сюжеты с фотокарточек.

Если что-нибудь забуду, посмотрю.

Для этого взял их с собой.

Письмо теперь запечатаю и брошу, чтобы потом не передумать!

Чтобы Вы непременно получили его и полюбовались бы мною в этом костюме, в ночное время, при мягком искусственном свете.

Обратите внимание на бланки.

Отрываю от сердца.

Никак не могу сделать первого шага!

Все, заклеиваю конверт.

Прощайте!

Прощайте!!!

Падший ангел.

Прощайте!

Письмо одиннадцатое

Досточтимый Стилист!

Теперь, когда все позади, сидя нагишом посреди комнаты (ноги в тазу, наполненным горячей водой, что еще не имеет отношения к самоубийству, самоубийство предполагает держание в тазу рук), приступаю к описанию того, что же за метаморфоза произошла со мной.

Того, что Вы в Вашем, а в недалеком будущем, «нашем» мире называем лишением девственности или, строго научно, дефлорацией мужчины!

Итак, это случилось.

Нам с Вами уже никогда не стать иными!

Метаморфоза, да еще какая!

Это случилось, брат!

Буду привыкать называть Вас так, как в детстве, помните?

Тем более после ночного моего путешествия, мы стали чуточку ближе.

Я надеюсь.

Хотя, может быть, может быть, с Вами ничего подобного и не происходило, и все Ваши прегрешения – есть плод моей больной фантазии?

Вы же знаете, если путник и выздоравливает, фантазии его все равно остаются болезненными. Навсегда.

Ну что же это я все вокруг, да около?

Приступаю к описанию.

Мне не терпится составить его.

Я думаю, что Вам, досточтимый Стилист, понятно мое нетерпение.

Плита с горячим чайником находится рядом, стоит только протянуть руку. Что я, периодически и делаю, так что о самоубийстве пока речь не идет.

К тому же это – не мой способ.

Это слишком очевидный, грубый, что ли, способ.

И сомнений на тот предмет самоубийство это или смерть ни у кого не возникнет, вы знаете, кого я имею в виду.

Впрочем, мысли имеют первостепенное значение.

Но в мыслях-то я собираюсь уйти из жизни не потому, что пребываю в уныние или опустил руки, что и является, собственно, самоубийством.

Не потому, что жизнелюбие во мне растворилось, точно сахар в стакане чаю, что и является, собственно, самоубийством.

Напротив, я полон жизни, я переполнен ею. Во мне так много ее, что я, безо всякого ущерба для себя, готов часть ее отдать во благо и во спасение, что и намерен сделать, что бы, вылечившись самому, вылечить еще и вас.

И это будет понято.

Это не может не быть понятным.

Так что я спокоен, улыбаюсь.

Подлил еще горячей воды.

Приступаю к описанию.

Тем более что времени у меня остается все меньше и меньше.

Надеюсь, что уже сегодня мне *будет сообщено решение*.

Однако приступаю к описанию.

Мне не терпится составить его.

Было бы странно, если бы такое событие прошло бы для меня незамеченным.

Хотя известны и такие случаи.

Иммануил Кант, например, по свидетельству очевидцев, с одним из них мне посчастливилось дружить некоторое время, Иммануил Кант сказал о театре соития – Масса ненужных телодвижений.

Между прочим, эта фраза пришла мне на память в один момент, и, надо сказать, очень помогла.

Чего уж там говорить, философия – богиня. Прислушивайся к ней, и ты будешь совершать много более осторожные поступки, а, следовательно, иметь меньше неприятностей и болезней.

Когда встретимся, напомните мне, чтобы мы поговорили об этом.

Это важно.

После переодеваний, размышлений и прочих репетиций, я, все же вышел на черную улицу, и пуговицы моего мундира, кроме, конечно, звезд, были единственными источниками освещения.

Три часа, семнадцать минут, двадцать четыре секунды.

Луны, по какой то неведомой мне причине, той ночью не было.

Впрочем, вполне вероятно, что ее закономерно не было.

Вполне вероятно, что это был знак чистого эксперимента.

Согласитесь, это был чистый эксперимент.

Я шел на смерть.

Но Вы же понимаете, что вследствие хода моих мыслей последнего времени, смерть, принятая извне, нисколько не страшила меня. Мало того, она, сама того не зная, облегчила бы выполнение мною самой важной задачи.

Но вот парадокс – оказывается, человек, вполне подготовленный к смерти, в тот момент, когда выходит из дома и попадает в угольную эту реальию неизбежного, все равно испытывает предательский холодок.

По ходу позвоночника, сверху вниз, и, следом, моментально, в руках.

Интереснейший орган, этот позвоночник.

Вроде бы и не умный, весь ум, как вы знаете, содержится в голове, а все чувствует. И сообщает рукам.

А может быть руки и позвоночник не связаны?

Тогда и руки обладают высокой степени интуицией.

Быть может, весь наш организм обладает высокой степени интуицией и представляет собой ничто иное, как космическую антенну?

Итак, в освещении пуговиц и звезд, я иду.

Стараюсь идти тихо, чтобы не потревожить спящих тут и там собак и лисиц.

Чтобы не было скучно, вглядываюсь в силуэты пирамидальных тополей и пальм.

Удивляюсь про себя гигантским папоротникам и секвойям.

Только в этот час можно увидеть их.

Днем их, как Вы знаете, не встретишь в средней полосе России.

Пахнет арбузами и авокадо.

И, почему-то, кумысом.

Наверное, восточный мальчик где-нибудь рядом.

В этот час и в двадцати трех километрах – это «рядом».

Иду.

Размышляю.

Холодок.

Еще недавно цели и задачи моих путешествий были много возвышеннее.

А разве чистый эксперимент – не возвышенно?

Так успокаиваю себя. Но, одновременно с этим, ловлю себя на мысли, что, пожалуй, такого трепета во время следования я не испытывал еще ни разу в жизни.

Падаю.

Падаю.

Вот, теперь бы восстановить в памяти что-нибудь из сюжетов фотокарточек, но они не идут в голову, да и для просмотра – слишком слабое освещение.

Почему-то из головы не выходит Ваша ленинградка.

Почему-то мне кажется, что не такая уж она и старая?

Может быть, она родит Вам (нам) ребеночка?

Не выходит из головы Ваша ленинградка.

У нее нет зеленого пальто?

Нет.

Не выходит из головы.

И голуби.

Летите голуби, летите...

Почему-то, с недавних пор, голубей не стало.

Ворон много, а голубей не стало.

Летите голуби, летите...

Кто-то высказал гадкое предположение, что их съели коллекционеры бутылок.

Гадкое предположение.

Летите голуби, летите...

Мне-то кажется, что они, просто, прячутся от нас.

Вы же знаете, как они умеют прятаться.

Так и будут прятаться, пока мы, наконец, не определимся, кто мы, откуда, и куда идем.

И вот тогда, стоило мне подумать об этом, стоило мне вернуться к основе основ, я и услышал ее крик.

Юлькин крик.

Я уже был в непосредственной близости от ее дома.

Она звала меня.

Мысли в моей голове понеслись со скоростью молнии.

Холодок в позвоночнике и руках пропал.

Напротив, мне сделалось жарко.

Пот.

Она звала меня.

Я побежал.

Желтое большое окно ее надвигалось на меня с неумолимостью судьбы.

Дно.

Близость дна.

Дно, оказывается, имеет интенсивно желтый цвет.

Около самого окна, как будто чья-то рука остановила меня.

Крики на время прекратились.

Мне удалось собраться с мыслями.

И вот я уже вновь крадусь.

Это явный признак того, что я собрался с мыслями.

– Не могла она звать меня – крутилось в голове – откуда ей знать о моих намерениях, разве что кто-то сообщил ей? В таком случае, кто же это мог быть? Вы? Но Вы еще не могли получить моего последнего письма, кто же, кто?

И вдруг ответ прозвучал во мне как выстрел.

Ну, конечно же!

Это мог быть только один человек, убиенный Женечка!

Женечка Хрустальный!

Прости, прости меня Женечка!

Ну, конечно же, он не мог не наблюдать за всем происходящим, ведь он был влюблен. Не так как я, а по-настоящему!

Что мне было делать?

Хороший человек, тот человек, кем я был еще совсем недавно, разумеется, тотчас вернулся бы и, с не меньшей скоростью, чем, нежели бежал сюда, отправился бы домой.

Но нельзя сбросить со счетов метаморфозы!

Превращения таки состоялись!

И мой костюм железнодорожника никогда не сидел на мне столь роскошно, как теперь.

Между прочим, здесь то, в этом самом мундире и зарыта собака.

Так хорошо костюм может подходить только дурному человеку. И я на данный момент есть ничто иное, как дурной человек.

Но у меня остается мало времени.

У меня почти что, совсем не остается времени.

Это даже не оправдание.

Теперь я не желаю оправдываться.

Это данность.

У меня мало времени!

У меня мало времени!

У меня мало времени!

У меня мало времени!

У меня мало времени!

Летите голуби, летите...

Падаю.

Падаю.

И в этот самый момент она вновь закричала.

Сомнениям моим был положен конец.

Прости меня, Женечка Хрустальный!

Простите меня, благородный Стилист!

Вот теперь я войду в Эти Комнаты.

Вот теперь я войду в Эти Комнаты.

Я помню как Вы уещевали меня в детстве – Никогда не входи в Эти Комнаты.

Тогда имелись в виду Комнаты родителей! Но суть то была той же – запрет!

Запрет!

Запрет!

Запрет!

Я не должен был преодолеть запретный порог!

И доктора говорили мне то же!

Не смей!

Нельзя!

Никогда не входи в Эти Комнаты!

Так вот, теперь я войду в них!

И вот что я буду говорить.

Текст был создан в течение нескольких секунд.

Привожу его дословно.

Вот я и пришел. Вот я и пришел, как не было обещано, но все это витало в воздухе, все это было очевидным, все это не есть следствие диалога, но есть следствие много большего, того, что между мужчиной и женщиной, между любым мужчиной и любой женщиной возникает наподобие гипноза, когда можно и не верить в гипноз, но нельзя не допустить, что неверие это как раз и есть следствие гипноза, окутавшего всех нас, и, в том числе, а в настоящее время, так и в первую очередь именно вас и именно меня, что и явилось, разумеется, и непременно, результатом того, что довольно скоро, не тратя времени на особенные размышления и приготовления, я перед вами и теперь вы можете отказываться от того, что звали меня, можете смеяться надо мной, можете ударить меня или даже убить меня, но вот уж я здесь, прошу любить и жаловать, прошу любить, ибо плотская любовь несколько не разрушит вас, а меня так сделает совсем другим человеком, человеком, над которым, быть может, вам в последствии и не захочется смеяться, совсем не захочется смеяться, при этом вы можете закрыть глаза, чтобы не видеть меня, если я вам сколько-нибудь, или вовсе неприятен.

Знаю, что последнее, по поводу закрывания глаз, было лишним.

Перебор.

Но, уж, что создано, то создано.

Никакие силы на тот момент не смогли бы заставить изменить хоть что-то в этом тексте.

Я проговорил текст, про себя, дважды.

Я проговорил текст, про себя, дважды.

А когда я проговорил текст, про себя, дважды, и заглянул в окно...

Я заглянул в окно, и вот что предстало предо мной!

Вот даже и теперь, когда все позади, когда я уже дома и грею ноги, и все позади, и все уже состоялось, даже и теперь, когда я вспоминаю этот момент, мне делается не по себе.

Вот я вам уже рассказывал про озноб, про позвоночник и руки, а потом докладывал вам о повышенном потоотделении в критический момент, когда же я заглянул в окно, я провалился в длинную пустоту.

Да, да, именно так, в длинную, бесконечную пустоту.

К сожалению, мне ни разу не приходилось падать в колодец, но, отчего-то у меня существует полная уверенность в том, что падение в колодец и те ощущения, что испытал я при виде желтого этого окна – суть, одно и то же.

Итак, я заглянул в окно.

Как Вы помните, в это время Юлька как раз закричала.

Нет, она закричала перед тем, как я принялся составлять текст.

Точнее, я его и не составлял. Он в полном объеме пронесся в моей голове сразу же. Как будто, к этому времени он уже давно был составлен. Мне оставалось его запомнить и произнести, когда потребуется. Так что, составление текста заняло совсем немного времени. Но вот повторение его, а повторял я его, как вы помните два раза, полупрошепотом, стараясь придать словам выражение и осмысленность, заняло несколько больше времени.

Так что, к тому времени, когда я заглянул в окно, она уже открывала.

Да, она уже открывала и отдыхала после своего крика.

Но не это главное.

Конечно же, главное заключается совсем в другом.

А что же главное?

Колодец?

Падение в колодец?

Оказывается, человек может падать в колодец, будучи очень далеко от него?!

Я так думаю, досточтимый Стилист, человек может смоделировать любые ощущения, не выходя из своей комнаты даже.

Я так думаю, если бы я не был патологически ленив, а лень – одна из черт моего недавнего заболевания, мне вовсе не потребовалось бы совершать путешествия, для того чтобы спасти мир, или постигать что-то новое для себя.

Мало того, я прихожу к заключению, что я мог бы даже и не вынимать ног из таза.

Мне бы оставалось только подливать в него иногда горячую воду, чтобы это не напоминало самоубийство.

Потому что такая задача и не ставится в настоящий момент.

Одним словом, она была не одна.

Одним словом, она была не одна.

А это означало, что у меня появилась проблема.

Проблема в виде соперника.

Такой вариант я не рассматривал.

Я не был готов к этому совершенно.

По-моему, на тот момент, от неожиданности я даже забыл текст своего обращения к ней.

Мало того, досточтимый Стилист, и войди я в Эти Комнаты, я был лишен возможности вступить с ними в диалог.

Они занимались тем, что представлено на фотокарточках.

Тем.

В той последовательности.

Искусно.

Думается, что я не ошибся, когда предположил, что Юлька – одна из актрис.

Я достал снимки и, благо, освещение позволило мне сделать это, проверил еще раз.

На ее лице было начертано блаженство.

Его я еще не видел.

Он находился ко мне спиной.

Почему она кричала?

Зачем она звала меня?

На помощь?

Но на лице ее было начертано блаженство?!

И вот здесь он повернулся, мой соперник.

Не то, что он увидел что-то необычное в окне, нет, он повернулся просто так, может быть, у него затекли ноги, или затекли руки, или вступило в шею, Вы же отлично понимаете, что все это, кроме всего прочего, еще и тяжелый физический труд, он повернулся.

Он повернулся.

Он повернулся, и я отчетливо увидел его лицо.

Это был... я!

Можете вы теперь представить себе мое следующее состояние?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.